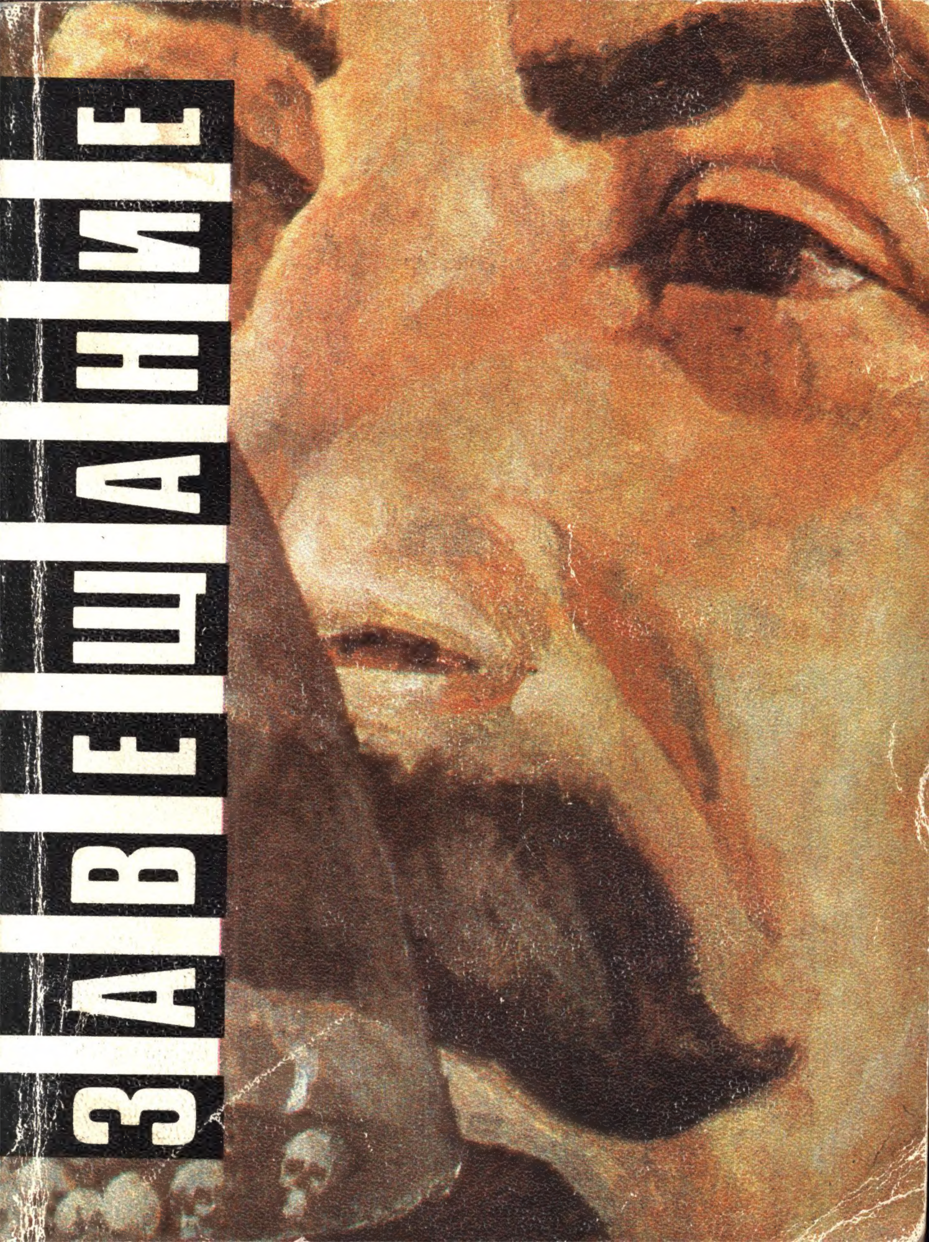

ЗАВЕЩАНИЕ

уральские
мемуары

уральские
мемуары

ЗАВЕЩАНИЕ

Свердловск
Средне-Уральское
книжное
издательство
1989

ББК 84Р7
З-13

Составители
Ю. А. Дорохов,
В. Н. Черных
Редактор
Ю. А. Дорохов

На переплете использованы репродукции картин художника Петра Белова: «Песочные часы» и «Проталина. М. Булгаков»

З $\frac{1805080000-079}{М 158(03)-89}$ Без объявл.-89

ISBN 5—7529—0196—0

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Эта книга открывает новый для нашего издательства цикл «Уральские мемуары». Для начала хочется сказать несколько слов о причинах и целях его появления.

Думаю, что сама потребность в такого рода документальной литературе рождена нашим временем перестройки и гласности. Десятилетия культа личности и застоя накопили в нас такую жажду правды о нашей истории, о том времени, которое пережили поколения советских людей, что жажда эта кажется неутолимой. Мы читаем все новые и новые публикации в газетах и журналах, нам порой кажется, что мы уже пресытились теми событиями, судьбами и фактами, которые раньше тщательно скрывали от нас. «Все, больше не могу об этом читать, устал! Хочется отвлечься на что-то более легкое, меньше терзающее душу...» — сколько раз уже говорили это мы себе и своим друзьям? Но вот приходит очередной номер газеты или журнала, и в нем опять новый материал о временах Сталина или Хрущева, о совсем еще близком нам брежневском безвременье, и мы опять углубляемся в это мучительное чтение, опять погружаемся в пучину извращенной психологии Сталина, опять подсчитываем победы и ошибки Хрущева, опять убеждаемся в ничтожности и демагогической беспринципности Брежнева и его окружения. Почему мы с таким вниманием (пусть иногда и брезгливым) читаем все эти материалы? Отвечая на этот вопрос, рискну сказать: потому что каждый из нас в глубине души чувствует свою причастность к тому, о чем они повествуют. Мы охотно и с гордостью рассказываем сегодня о тех случаях, когда пытались (пусть в мело-

чах) выражать свое негативное отношение к происходящему в стране, и старательно забываем (даже для себя) те времена, когда плыли по течению, когда даже одним своим молчанием способствовали репрессиям и авантюрам, карьеризму и корыстолюбию, бюрократизму и замазыванию «отдельных, еще встречающихся» недостатков. Понимаю всю категоричность этого заявления, охотно признаю существование людей, которые могут не обвинять себя столь жестоко, но думаю, что таких среди нас меньшинство, иначе не произошло бы того, что мы видим сегодня: кризис экономики, падение нравственности, девальвация политических идеалов. И для того чтобы уяснить для себя истоки всех этих явлений, мы снова и снова обращаемся к нашей давней и совсем еще близкой истории, заново переживаем свою жизнь. Ведь и в ней в большей или меньшей степени нашли свое проявление счастливые и горькие, радостные и трагические события, которые пережила наша страна. Каждый из нас — во многом продукт той эпохи, в которой мы живем, а значит, и по судьбе каждого из нас можно судить об этой эпохе. Вот почему мы решили в период всеобщего интереса к истории обратиться к человеческим документам, к воспоминаниям уральцев о том, что они пережили. Ведь в этих мемуарах мы можем увидеть не только события, которыми жила вся страна, но и оценку этих событий отдельными людьми; мы можем рассмотреть те детали человеческих судеб, из которых и складывается мозаичная картина общей истории.

Мемуары всегда были частью мировой литературы. А может быть, от них она и произошла? Ведь неистребимое желание рассказать людям о пережитом было, наверное, еще и до появления письменности. Мы знаем прекрасные образцы мемуаристики, которые позволяют нам и сегодня вместе с авторами заново пережить их судьбы, явственно ощутить сам воздух той или иной эпохи. Существуют замечательные воспоминания, относящиеся и к советской истории. Особенно богата такими челове-

ческими документами, на мой взгляд, библиотека, в которой можно было бы собрать все книги, рассказывающие о Великой Отечественной войне. Но мы прекрасно знаем, что и для авторов самых честных, самых искренних мемуаров всегда существовали рамки: вот об этом писать можно, об этом нежелательно, а это лучше всего просто забыть. За примерами далеко ходить не буду: всего-то 5—6 лет прошло с тех пор, когда самому, как редактору, приходилось с великими муками убирать из рукописей даже самые краткие объяснения, почему это жизнь очень многих героев революции и гражданской войны с удивительным постоянством заканчивалась в роковые 1937—1938 годы. И зависело это, к сожалению, не от моей трусости или смелости: не убрал бы я — вычеркнул бы кто-то другой... Кстати, если уж мы заглянули с читателем на издательскую кухню, то могу совершенно искренне сказать, что при подготовке к печати этой книги, может быть, впервые за многие годы не приходилось мне вспоминать о каких бы то ни было «табу». Все редактирование ограничилось только грамматической и стилистической правкой, да и ту старался я делать осторожно: очень хотелось сохранить исторические документы во всей их подлинности. Надеюсь, что так будет и во всех последующих книгах цикла.

А сейчас — о самой первой из них. Здесь собрали мы воспоминания, публиковавшиеся в журналах «Урал» и «Уральский следопыт» в самое последнее время. Это записки людей, прошедших по всем кругам ада сталинских лагерей. В каких-то особых комментариях мемуары, на мой взгляд, не нуждаются. Думаю, что читатель и сам проникнется глубоким сочувствием к их авторам-героям, сам изумится той жизнестойкости, которую проявили они в своих долголетних муках, сам убедится в том, что такие человеческие документы должны прочитать все наши современники, и особенно молодые.

Мы дали этой книге обязывающее заглавие — «Завещание». Думаю, что оно точно отражает не только

содержание, форму, но и сами обстоятельства, в которых родились эти мемуары. Обращаю внимание читателей на то, что воспоминания писались их авторами без всякой надежды на скорую публикацию. Пережитое так неумолимо сжимало их душу и сердце, что хоть перед смертью им страстно хотелось высказать все наболевшее своим близким: детям и внукам. «Духовное» — так называли в прошлом свое завещание наши предки. Не всегда в нем шла речь о духовных ценностях, чаще о материальных. Это «Завещание» гораздо ближе по своему содержанию к тому, старому, названию. И конечно, написано оно вовсе не для того, чтобы вызвать простое сочувствие. Главное — чтобы не повторилось то, что пережили эти люди. Представьте себе, с какими чувствами смотрели они на постепенную реанимацию авторитета Сталина, на все эти портреты за стеклами машин, на якобы объективные фильмы и телепередачи. Еще и сейчас, судя по всесоюзным опросам, довольно много людей тоскуют по сталинскому порядку и всеобщей духовной подстриженности. Пусть и они прочитают о том, какой ценой достигался этот «порядок».

Нет, этот путь нам уже заказан. Нам надо искать свою дорогу. Пусть мы будем при этом ошибаться, петлять, но нам ни в коем случае нельзя сворачивать на просеку, прорубленную сталинским топором: она ведет в пропасть. И чтобы подавить в себе гаденькое желание вступить на эту просеку, мы должны еще и еще раз, не отводя трусливо глаза, всматриваться в нашу историю, как бы горько и тяжело это ни было. Дело здесь не только и не столько в разоблачении ошибок и преступлений Сталина, его окружения и его последователей. Дело в том, чтобы горьким лекарством истории каждому из нас вытравить из себя раба, вытравить те метастазы культа личности, с которыми мы свыклись и которые даже не замечаем в собственном сознании.

Юрий Дорохов

Петр
АФАНАСЬЕВ

Да, это было...

Публикация Н. М. Афанасьевой
и А. Г. Шеметило

Я познакомился с П. М. Афанасьевым в 1965 году на встрече с участниками революционных событий в Екатеринбурге.

В первые дни революции Петр Михайлович находился в боевом молодежном отряде, который посылали на такие важные задания, как, например, ликвидация саботажа на телефонной станции. Еще не став коммунистом, он выполнял поручения партии. Именно ему, выпускнику горного училища, доверили переплавку доставленных в Екатеринбург запасов царских орденов и медалей из золота и серебра. Финансовый фонд страны пополнили десятки пудов драгоценных металлов.

В июле 1919 года П. М. Афанасьев стал большевиком. По поручению партии работал судьей, прокурором, возглавлял волостную парторганизацию, был инструктором уездного комитета РКП(б). Только в 1928 году стал трудиться по специальности — горняком. Затем учеба в вузе, звание горного инженера и работа в Севгипроцветмете, тресте Уралмедьруда на ответственных должностях.

Я довольно часто встречался с Афанасьевым, но почти никогда не затрагивали мы период 1937 года, ставший тяжелейшим для многих преданных социалистической родине людей. Не принято было тогда говорить об этом.

Петру Михайловичу напомнила о горьких годах Почетная грамота, которая пришла в Свердловск из Норильска в 1960 году. Пришла как трудовая награда.

«За безупречную долголетнюю работу, в связи с 25-летием Норильского горно-металлургического комбината имени Завенягина»,— говорилось в грамоте. Быть может, она и подтолкнула Петра Михайловича быстрей, как он говорил, «отчитаться перед детьми, внуками, молодежью о прожитом и о той мрачной поре, которая кроется под именем сталинизма».

Он сел за тетрадь более чем через 12 лет после освобождения. Не мог раньше. Нелегко было писать. В этом вы убедитесь сами.

Аскольд Шеметило

10 мая 1968 года.

Медная промышленность долго была в прорыве. Нарком тяжелой промышленности Орджоникидзе всерьез взялся за ее подъем. Были определены кредиты, снабжение оборудованием и материалами. Трест Уралмедьруда, где я работал, возглавил Д. П. Федораев, бывший работник угольной промышленности. Человек с большими организаторскими способностями. Руководить Кировградским медным заводом Орджоникидзе назначил лучшего директора с ленинградского завода Севкабель А. А. Литвинова, который получил права уполномоченного Наркомтяжпрома по Уралу. Он мог непосредственно обращаться в наркомат для решения заводских проблем. В 1935 году цветная металлургия Урала впервые за многие годы выполнила план.

...В ноябре 1936 года мы с женой отдыхали в Крыму. При возвращении через Москву в Главмеди узнали неприятную новость: в Свердловске арестована группа работников треста Уралмедьруда во главе с главным инженером треста А. И. Аристовым. Аристов — специалист дореволюционной формации, в Ленинграде профессорствовал, в Ленгипроцветмете руководил проектированием рудников Красноуральского комбината. Считался неплохим специалистом, и Орджоникидзе направил его для усиления работы на Урале.

Обстановка в тресте в конце 1936 и начале 1937 года создалась тяжелая. Обсуждались «последствия вредительства», а в чем они заключались, никто не знал. Еще до

моего возвращения в Свердловск на трестовском партийном собрании Федораев был исключен из партии. Обкомом это решение не было отменено, но и не было утверждено. В это время через Свердловск из Сибири проезжал заместитель наркома тяжелой промышленности А. П. Серебровский. Федораеву удалось встретиться с ним в гостинице. Серебровский доложил Орджоникидзе. В Свердловский обком ВКП(б) поступила телеграмма Сталина: «Не мешайте Федораеву работать». Обстановка несколько разрядилась, но ненадолго. Главным инженером треста по предложению Серебровского был назначен А. А. Грибин, работник золотопромышленности Западной Сибири. За большие трудовые заслуги он был награжден орденом Ленина, персональной легковой машиной. Перевод, очевидно, спас Грибина от репрессий. В Сибири о нем забыли, а на медных предприятиях он только что появился.

21 мая 1968 года.

На пленуме ЦК ВКП(б) в феврале — марте 1937 года в выступлении об уроках вредительства, диверсий и шпионажа японо-немецких и троцкистских агентов говорилось и о вредительской деятельности в тресте Уралмедьруда. Приводились «показания» арестованных инженеров А. И. Аристова и В. И. Пучкова. Они носили буквально фантастический характер, в них приводились события, которых вообще в природе не существовало.

Положение на местах после пленума ЦК осложнилось еще больше. Подозрительность стала нормой поведения. В каждом подозревался враг. Производительность труда во всех отраслях резко снизилась. Руководители боялись ответственности и страховали себя от возможных обвинений.

В марте — апреле 1937 года был арестован Р. М. Кац, коммерческий директор треста, толковый в хозяйственных вопросах специалист. В ночь на Первое мая арестовали управляющего трестом Д. П. Федораева. Обязан-

ности управляющего и главного инженера были возложены на А. А. Грибина.

Как из рога изобилия посыпались аресты руководящих работников промышленности, обкомов ВКП(б) и ВЛКСМ, руководителей районных партийных и советских органов, профсоюзных организаций, командного состава армии.

Как депутат Свердловского горсовета, я работал в промышленной секции. Собиралась секция один раз в месяц и всегда исключала из своих рядов депутатов, арестованных, как «врагов народа». Был арестован и возглавлявший секцию руководитель объединения лесной промышленности.

На горнорудных предприятиях треста один за другим исчезали директора, главные инженеры, начальники ОКСов... Судьба начальника Лёвихостроя инженера Руздана своеобразна. Он был в научной командировке в США. По возвращении докладывал о результатах поездки и мимоходом весьма лестно отозвался об американских полисменах. Его обвинили в пропаганде буржуазного образа жизни и исключили из партии. Он апеллировал в ЦКК. В Москве беседовал с членом Президиума ЦКК А. А. Сольцем. В партии Руздана восстановили, но затем снова арестовали. В заключении он погиб.

Директор Пышминского рудоуправления Терехин, рабочий-самородок, скромный человек, знающий руководитель, был арестован только потому, что в партийной анкете самокритично приводил факт своего голосования за позицию Троцкого в двадцатых годах. Этого было достаточно для зачисления его в активные троцкисты.

В мае 1937 года я поехал в служебную командировку на Лёвиху, где директором предприятия был Пономаренко, член ВКП(б) с 1917 года, участник гражданской войны. Он считался одним из лучших директоров горных предприятий треста. Несмотря на гнетущую обстановку, Пономаренко держался уверенно и не давал своим работникам впадать в панику.

Мы с ним договорились встретиться утром для решения ряда вопросов по производству. Однако накануне ночью Пономаренко был арестован. Вскоре арестовали и его жену. Так погиб талантливый директор из рабочих.

Кривая роста промышленности резко снизилась. В Свердловск приехали А. А. Андреев и А. П. Серебровский. В обкоме ВКП(б) собрали техническое совещание коммунистов — руководителей предприятий, трестов и других объединений. В обкоме уже не было первого секретаря И. Д. Кабакова. Покончил самоубийством второй секретарь К. Пшеницин, герой гражданской войны на Дальнем Востоке. Собрались коммунисты, уцелевшие от репрессий. А. А. Андреев свое выступление построил на утверждении, что на Урале враги народа поработали основательно и что следует начать ликвидацию последствий вредительства. А. П. Серебровский бросил реплику, что вредителям не открутиться от ответственности. Впоследствии сам Серебровский был арестован и погиб.

В июле 1937 года в трест поступило распоряжение Наркомтяжпрома за подписью Серебровского: послать в Карабаш комиссию по ликвидации последствий вредительства. В ее состав вошли Л. В. Ходов (главный маркшейдер треста), В. К. Бучнев (доцент горного института), я был назначен председателем комиссии.

Начали мы свою деятельность с Северо-Карабашского рудоуправления. С его директором П. М. Трухиным я был знаком по учебе в институте. Настроение у него было отвратительное. Рассказал, что партийный комитет ему не доверяет, что он сам каждый день ждет ареста. Главный инженер Горцев и начальник ОКСа уже арестованы. Персонал рудоуправления и шахт занимался не работой, а тем, чтобы обезопасить себя от возможного обвинения.

Директором Южно-Карабашского рудоуправления был горный инженер Кузякин. Главный инженер пропал неизвестно куда. Не исключено, что был арестован. С Кузякиным повторилась история, которая случилась на Лёви-

хе с Пономаренко. Рудоуправление осталось бесхозным. Я предложил Л. В. Ходову возглавить его с исполнением обязанностей директора и главного инженера. Леонид Васильевич был в ужасе, но ему пришлось согласиться. Забегая вперед, скажу: Ходов остался нерепрессированным и жив-здоров до сих пор. Быть может, длительная командировка в Карабаш сохранила ему жизнь.

С В. К. Бучневым мы возвратились в Свердловск. П. М. Трухин прощался с нами, будто готовился к аресту. Предчувствие не обмануло. Его арестовали, но через полгода освободили. В дальнейшем он работал в угольной промышленности в Кизеле, а потом заместителем министра угольной промышленности. В настоящее время руководит совнархозом в Казахстане, Герой Социалистического Труда.

В августе 1937 года по графику мне полагался очередной отпуск. Жена уехала в Воронеж. У нее был девятый месяц беременности. После отпуска мы должны были возвратиться в Свердловск уже с двумя детьми. В ночь с 13 на 14 августа 1937 года приехал в командировку брат и остановился в нашей квартире. Часа через два после его приезда явились сотрудники областного управления НКВД с ордером на обыск и арест. (Ордер датирован 4 августа, когда я был в Карабаше.) Всю ночь просматривали мою библиотеку. Изъяли документы служебные, общественные, табеля и похвальные листы учебных заведений. Верх-Нейвинское высшее начальное училище я закончил в 1913 году с наградой первой степени — с похвальным листом и книгою. Книга — избранные произведения Марко Вовчка — была надписана педагогическим советом на бланке с портретами лиц царствовавшего дома (в честь 300-летия дома Романовых). Бланк был вырезан и приобщен к изъятым документам.

Тяжелым было прощание с братом. Но его приезд прояснил для родных мое положение. Иначе я бы бесследно исчез. Солнце уже взошло, когда меня везли в пикапе от квартиры на проспекте Ленина, 52 к управлению НКВД

на Ленина, 17. Состояние было тупое. Никак не укладывалось в голове случившееся. В комендатуре внутренней тюрьмы изъяли партийный билет и паспорт.

Поместили на первом этаже в небольшом отгороженном пространстве в тупике коридора, который служил парикмахерской. Я вслушивался в звуки тюрьмы. Налево находилась камера «брехаловка», в которую привозили на допросы арестованных из общей тюрьмы. В ней было шумно. Зато из других отсеков не доносилось признаков жизни. К вечеру меня перевели в такую же парикмахерскую на втором этаже, где я провел ночь.

10 июня 1968 года.

15 августа 1937 года — второй день моего пребывания в тюрьме. Утром я стал тщательно обследовать свое временное обиталище. В нем нельзя было сделать и двух шагов. На косяке двери нашел запись директора Уралэльмашстроя Проня, который, как и я, провел первую ночь после ареста здесь. В полотне двери обнаружил отверстие, через которое был виден коридор, в конце его стол и сидящий за ним надзиратель. Услышав стук, я прильнул к отверстию и увидел главного геолога треста Уралмедьруда А. В. Ефремова. Впоследствии я узнал, что его арестовали в ту же самую ночь. В полдень меня водворили в камеру № 28 на этом же этаже с правой стороны. В ней размещалось пять человек. Шестая кровать была пустой. Раньше, как выяснилось, на ней спал бывший ректор Свердловского горного института Петр Яковлевич Ярутин. С ним я учился в вузе. Он был парттысячником после рабфака, окончил институт по специальности обогатителя.

Камера освещалась окном с решеткой между рамами. С наружной стороны окно на всю высоту было закрыто металлическим «намордником». Свет проникал через верхний раструб.

Состав сокамерников был пестрый. У окна мастер Баранчинского электрозавода «Вольта». В чем его обви-

няли, он и сам не знал. Рядом с ним рабочий из Нижнего Тагила, с вагоностроительного завода, перебежчик из панской Польши. Бежал он из армии с товарищем, который работал где-то в Сибири. Был он полуграмотный деревенский парень. Его обвинили в шпионаже без всяких оснований. Третий сокамерник — бывший ленинградский летчик. Переехал работать на Урал. Его каждую ночь вызывали на допрос. После одного из вызовов он не возвратился. Четвертым оказался немецкий рабочий с Уралмаша. Он был спокоен за свою судьбу: гитлеровское правительство его вызволит. О порядках в СССР говорил с издевкой. Пятый — ветеринарный врач управления Свердловской железной дороги. Его арестовали в день рождения, на домашнем торжестве. Обвиняли в том, что якобы умышленно травил скот, транспортируемый по Свердловской железной дороге. Его форсированно допрашивали, сутками держали у следователей. Скоро он исчез.

Меня недели три не вызывали к следователю. Понемногу начал понимать, что аресты, проводимые органами НКВД, не в ладах с принципами революционной законности. Прокурорский надзор отсутствовал. Сидевшие в тюрьме длительное время не помнили, чтоб ее посещал прокурор.

Отбой ко сну во внутренней тюрьме в 22 часа. Подъем в шесть утра. С 6 до 22 часов пользоваться постелью запрещалось. На допросы вызывали, как правило, с 23 часов. Возвращались в 3—5 утра. Только улягутся заключенные после отбоя, как начинался грохот открываемых и закрываемых металлических дверей. Все напряжены: не за нами ли? Пришедший с допроса не успевал заснуть, как объявлялся подъем, и, значит, пользоваться постелью уже нельзя. Надзиратель через глазок в двери следил, чтобы кто-нибудь не заснул сидя. Передачи запрещены. Заключенный мог получить свидание или передачу только по разрешению следователя, если тот был «доволен» своим подопечным.

После окончания арестантского обеда слышно было,

как в некоторые камеры разносят дополнительное питание. Как мне сказали, это кормили «котлетников». Так называли заключенных, которые безропотно подписывали протоколы допросов, сфабрикованные следователями.

Происходила смена обитателей камеры. В нее водворили 73-летнего Мейера, работавшего в объединении Уралцветмет. Интересный человек. Охотник-медвежатник. Работал когда-то на строительстве КВЖД, где пристрастился к охоте на тигров. Ходил один на один. Старик еще крепкий. Следователь Мизрах предъявлял Мейеру обвинение в шпионаже. Доказательством служил проспект русско-немецкого общества, изданный в прошлом столетии. В числе основателей общества значилась фамилия Мейер. Мизрах добился признания от Мейера, что он был организатором общества, занимавшегося шпионажем. По хронологии получилось, что общество прекратило свое существование еще до рождения Мейера. Мизраха это не смущало.

Очередной сокамерник — директор бактериологического института профессор Кутейщиков. Он явился с вещами, приспособленными для тюремного обихода. Вещевой мешок не имел пуговиц, крючков и кожаных ремешков. Завязывался дозволенными способами. Оказывается, Кутейщиков уже бывал в подобной ситуации и с тех пор хранил под кроватью приготовленный мешок с бельем и сухарями.

Бактериологический институт помещался под одной крышей с областным управлением НКВД. После ареста едва ли не всех научных работников институт был закрыт, а здание полностью заняло управление НКВД. Профессор Кутейщиков впоследствии в тюрьме покончил самоубийством.

Загремел замок, и в дверях появился новый сокамерник, на вид лет 18—20. Выражение лица беспомощно-детское. На новичке летний легкий пиджак, надетый на нижнюю рубашку, домашние туфли на босых ногах. Из одного кармана пиджака выглядывало полотенце,

из другого — зубная щетка. От Володи Тарика (так он назвался) мы узнали, что он член Свердловского областного комитета ВЛКСМ, ведал пионерской работой.

Всего несколько дней я находился с Володей, но он покорил меня своей любовью к детям. Его рассказы о пионерской работе дышали такой страстью, что иногда забывалась обстановка, в которой мы находились. Как был рад Володя, что для Дворца пионеров удалось отвоевать особняк Харитонова. Перед открытием Дворца Тарика уже отстранили от работы, но он не мог не участвовать в торжестве, тем более что ему и жене прислали пригласительные билеты. Во время торжественного заседания из президиума Володе прислали записку с предложением покинуть зал...

Дела репрессированных комсомольцев вел следователь Парушкин. После первого допроса Тарик вернулся в таком состоянии, что уткнулся в подушку и зарыдал. Парушкин сразу оглушил его грязной, площадной бранью, угрозами, называл врагом народа, принуждал подписать уже заготовленный протокол «допроса» с гнусными обвинениями.

За 17 лет в тюрьмах, лагерях и местах ссылки я встречался с тысячами невинно репрессированных, но арест Володи Тарика особенно поразил меня своей бессмысленностью и жестокостью. Прошло уже более 30 лет, но образ Тарика стоит перед глазами, как будто мы с ним расстались только вчера.

Когда появилась возможность (после реабилитации в 1954 году), я решил подробно ознакомиться с биографией и дальнейшей судьбой Володи. К сожалению, молодой коммунист Тарик погиб.

Я разыскал Дору Петровну Леонтьеву и Марию Александровну Красовскую, которые работали в обкоме ВЛКСМ вместе с Тариком. Их восторженные отзывы о нем подтвердили мои тюремные впечатления. Они вспоминали, как Володя горел на работе. Лично для себя никогда ничего не требовал. Напротив, товарищам прихо-

дилось следить, чтобы его добротой не злоупотребляли.

Тяжелые злоключения достались и жене Володи, Вере Алексеевне Тарик-Зыковой. Ее репрессировали, как члена семьи арестованного. От нее я узнал многое о Володе. Его отец — коммунист, переехал на Урал, когда Володя был еще мальчиком. С 1926 года Владимир начал свою работу председателем райбюро пионеров в Каменском райкоме ВЛКСМ. И с тех пор работа среди пионеров стала его призванием. Тарик — участник X съезда ВЛКСМ.

5 сентября 1937 года было ужасным днем для семьи Тарик. Владимира уже уволили с работы. Вера была на последнем месяце беременности. Дети — дочь Эмма 7 лет и сын Владик 2 года — не подозревали трагического положения в семье и резвились. Владик неудачно прыгнул и сломал ногу. Врач «Скорой помощи» загипсовал перелом. Не успели заснуть, как стук в дверь — и появились люди, предъявившие ордер на обыск и арест. Владимир отклонил попытку жены собрать его в последний путь и со словами «ничего не нужно» вышел из квартиры в том виде, в каком явился в тюремную камеру. Следователь Парушкин так и не разрешил жене передать арестованному одежду.

23 ноября 1968 года.

Снова прервал жизнеописание на длительное время. Приезжала дочь Ира со своей затянувшейся кандидатской диссертацией. Она работала три месяца с большой нагрузкой. Нам с женой пришлось ей много помогать. Позднее навестил сын Боря с женой и внуком Мишкой. Боря получил решение ВАКа о присвоении ему звания кандидата физико-математических наук. Очень доволен. А в ноябре Миша снова пожаловал. Правда, он гостил у бабушки в Арамили. В сентябре — октябре отмечалось 50-летие ВЛКСМ. Много выступал перед молодежью. Участвовал 26—28 сентября в областной научно-практической конференции ветеранов.

После вывода из 28-й камеры внутренней тюрьмы Володи Тарика его место занял работник Верх-Исетского райкома ВЛКСМ Александр Ардашев. Дело Ардашева

вел тот же «специалист» по комсомолу Парушкин. Он сам был комсомольцем, и все активисты города и области были ему знакомы. Ардашев с Парушкиным до ареста находились в приятельских отношениях, бывали с женами один у другого в гостях. Парушкин использовал и это. Убедил Ардашева довериться ему и подписывать все, что он предлагает. В кабинет Парушкина приглашалась жена Ардашева, и они втроем «в непринужденной беседе» обсуждали будущее. Ардашеву гарантировалась работа в Сибири. Там и погиб этот юноша.

После 1956 года я встретился с работавшей до 1937 года в Свердловском обкоме ВЛКСМ Феоктистой Михайловной Коркодиновой. Она по материалам Парушкина была осуждена, но из колымских лагерей перед Великой Отечественной войной вывезена на переследствие. Ее реабилитировали. Устроили ей очную ставку с Парушкиным, который привлекался к суду за истребление партийно-комсомольских кадров. По-видимому, его расстреляли.

В сентябре или октябре 1937 года однажды днем меня вызвали к начальнику отделения лейтенанту М. Б. Ерману. Он встретил меня пояснением, что сознательно длительное время не вызывал: надо-де разоружиться и написать все-все о своей деятельности. Убедившись, что я ничего писать не собираюсь, лейтенант прочитал выдержки из показаний управляющего трестом Уралмедьруда Федораева. Федораев якобы признал, что был главой контрреволюционной организации в тресте и лично завербовал в нее Афанасьева, то есть меня. Ерман взял другую бумажку — выдержки из показаний управляющего Ново-Лёвихинским рудником Макарова. Зачитал, что ему, Макарову, Федораев говорил, что им завербован в контрреволюционную организацию Афанасьев, но что он, Макаров, ничего про мою контрреволюционную деятельность не знает.

Ерман приказал мне написать собственноручные признания на основе «показаний» Федораева и Макарова.

Я отказался и требовал очной ставки с Федораевым. «Очная ставка будет, а пока пишите»,— заявил Ерман. Дал мне бумагу и посадил в комнату перед входом в его кабинет. Началось «представление»: я сидел над листом бумаги, а мимо меня проходили солидные должностные лица НКВД и по-приятельски обращались ко мне: «Здравствуйте, Петр Михайлович! Вы все еще не пишете? Не тяните время!» Некоторые хлопали меня по плечу, хотя я никого из них не знал. Этот прием, оказывается, входил в метод следствия. Мне надоело сидеть. Я беспокоился о здоровье жены. Как у нее прошли роды? Где она? Что с ней? С детьми? Взял лист и начал писать ей письмо. Проходивший Ерман обрадовался, что я «осознал». Но когда понял, что именно я пишу, разозлился. Вырвал письмо и разорвал его. Через несколько дней меня вывезли из внутренней тюрьмы в городскую. Водворили в спецкорпус — одного в большую камеру. На стене обнаружил надпись, из которой явствовало, что накануне в камере находились 27 женщин — жен ранее арестованных. Среди них была Е. Владимирова, жена директора Уралмаша. Вечером в камеру втолкнули молодого парня, который был в одном нижнем белье. Он назвался Богдановым и рассказал, что приехал в Советский Союз из Китая, с КВЖД. Музыкант. Арестовали в Ростове. Пока везли в Свердловск, уголовники проиграли в карты его заграничную одежду, и он сейчас щеголяет в нижнем белье. По его поведению стало ясно, что он подсажен ко мне как осведомитель. Музыкант уговаривал не противиться следователю: все равно сломает. Я пошел на хитрость: надо, мол, написать заявление, да бумаги нет. Богданов забарабанил в дверь. Часа два стучал, пока не вывели. Вечером возвратился и сказал, что у заключенных достал бумагу и огрызок карандаша. В ученической тетради я написал заявление о необоснованности моего ареста. Всю тетрадь исписал. Позже Ерман заявил с издевкой, что он выбросил ее в корзину.

На другой день меня снова повезли во внутреннюю

тюрьму и водворили в камеру на третьем этаже, где уже содержались Л. С. Владимиров, директор Уралмаша, и С. Высочиненко, секретарь Пермского горкома партии.

Высочиненко в юношеские годы был генеральным секретарем ЦК комсомола Украины, а в начале 30-х годов первым секретарем Ленинского райкома партии в Свердловске.

Владимиров имел большой авторитет в области. Я считал, что из общения с ними мне станет яснее, что делается. Но... ошибся. Оба они подписали протоколы «допроса», признались в шпионских, вредительских и других преступлениях. Когда они узнали, что от меня требует Ерман, то дуэтом уговаривали согласиться, так как это сущая ерунда по сравнению с тем, что они подписали.

Я знал, что Владимирова ценили Орджоникидзе и Сталин. В начале 1937 года Владимиров был на заседании Политбюро по делам Уралмаша. По окончании заседания к нему подошел Сталин и осведомился, почему он, Владимиров, мрачный. Владимиров заявил: «Тяжело стало работать. Многих начальников цехов и инженеров арестовали. Оставшиеся работают без энтузиазма...» Сталин пообещал помочь, и действительно в адрес обкома ВКП(б) поступила телеграмма за подписью Сталина: «Не мешайте Владимирову работать». Пару месяцев дела шли хорошо, а потом последовал арест Владимирова.

Настоящая фамилия Владимирова — Островский. В 1917—1918 годах он партизанил на Украине под вымышленной фамилией Владимиров. Впоследствии так и оставил эту фамилию себе. При фабрикации его дела Ерман сочинил версию, что он выкрал документы убитого красноармейца Владимирова и присвоил его фамилию, чтобы скрыть свое преступное прошлое. Насколько мне известно, Владимиров подписал и это обвинение.

Когда я сказал Владимирову, что видел на стене камеры фамилию его жены, он был поражен. Ерман уверял его, что жена на свободе. Ерман был вынужден

подтвердить, что жена арестована, и устроил им свидание. На свидании жена вела себя мужественно, а сам Владимиров находился в состоянии истерии. Е. Ф. Владимирова в 1935 году участвовала во Всесоюзном женском совещании в Москве. Г. К. Орджоникидзе лично вручил ей орден Трудового Красного Знамени за организацию движения жен хозяйственников и ИТР.

В январе 1938 года Владимиров и Высочиненко были судимы выездной сессией военной коллегии Верховного суда СССР. Когда их вывели из камеры, минут через 20 меня из этой камеры перевели в смежную, где находились трое заключенных. Среди них директор Молотовского завода в Перми. Имя Молотова, по его словам, положительно сказалось и на кредитах заводу, и во всяких льготах. Директор, выезжая в Москву, даже останавливался в квартире Молотова, а в последнюю командировку катался с ним на лыжах. Молотов подзадорил его скатиться с крутой горки — и директор при спуске сломал ногу. Лежал в кремлевской больнице, где его и арестовали.

Через пару дней в эту камеру поместили бывшего командира Тюменской дивизии. Он поведал свои злоключения. Примерно за год до переживаемых событий комдив был демобилизован и уехал в Свердловск, где устроился преподавателем по военным дисциплинам. Получил жилплощадь и поехал в Тюмень за семьей. Ему пришла в голову шальная мысль на прощание посетить в Тюмени театральное представление в военном клубе. Жена его отговаривала, предлагала уехать немедленно. Он настоял. Когда возвратились из клуба, следом явились сотрудники Особого отдела, арестовали и отправили в Свердловское областное управление НКВД. Там на него никаких материалов не было даже по нормам 1937 года, и сотрудники первое время не знали, что с ним делать, кормили его провизией из буфета, а на ночь оставляли тут же, в служебном помещении.

Комдив по национальности был башкир, и начальник

Особого отдела попросил его прочитать для сотрудников лекцию на тему «Национализм в Башкирии». На другой день «лектору» дали подписать протокол допроса, в котором он признавал себя одним из идеологов контрреволюционного национализма в Башкирии. Предполагалось, дескать, создание национального правительства, в котором ему намечалось занять пост военного министра. Два дня увещевали его подписать «протокол допроса». Он отказывался и говорил, что это чушь и что если бы он подписал протокол, то Особому отделу пришлось бы за это отвечать. «Ну вот и подпишите для курьеза»,— подзадоривали его. «Давайте подпишу! Но пеняйте на себя!» — заявил комдив и... подписал. На него завели дело, и он появился в нашей камере... Рассказывал он с юмором и издевкой над сотрудниками Особого отдела. Когда же в камере ему разъяснили трагизм его положения, пелена с его рассудка упала. Он бросился к дверям, застучал, требовал вызова в Особый отдел. Ночью его увели...

Меня передали другому следователю — Монзину. Монзин вел следствие своеобразно. Несколько раз поговорил со мной, причем проглядывало что-то вроде сочувствия. С вечера вызывал меня. Я сидел в его кабинете и молчал. Он занимался своим делом, не обращая на меня ни малейшего внимания. Под утро справлялся по телефону, ушел ли начальник. Если ушел, то Монзин сейчас же вызывал из караульного помещения выводного и отправлял меня в камеру. И так много-много раз. Накапливал количество вызовов на «допросы».

Через некоторое время мной опять занялся Ерман, который применил «конвейер». Совсем не пускали в камеру. Днем со мной сидел молодой следователь Годенко, а ночами — практиканты. В их задачу входило не давать мне спать. Время от времени справлялись, не надумал ли я писать показания. Закончился «конвейер» гнусной провокацией. 12 декабря 1937 года, в день выборов в советские органы власти, Ерман был дежурным по областному управлению НКВД, и с ним следователь

Годенко. Жена, еще не оправившись после перенесенных ею родов в Воронеже, приехала с новорожденным сыном в Свердловск. Ерман и Годенко вызвали ее в управление, посадили в коридор и приказали не подходить, когда меня поведут мимо. Когда я увидел бледное лицо сидящей на табурете жены, то бросился к ней, обнял ее. Конвоир и появившийся Годенко оторвали меня от жены и увели в кабинет. Годенко дал мне прочитать заготовленный протокол «допроса», где значилось, что я признаю себя виновным и в последующих протоколах допроса сделаю дополнительные показания. Годенко повелительно сказал мне: «Если не подпишете, жена не выйдет отсюда и будет арестована; новорожденного сына, как оставшегося без присмотра, сдадим в детское учреждение». Я был в отчаянии. Я подписал протокол. Жену ввели в кабинет, и мы с ней пробыли вместе несколько минут. Встретились мы с Ниной после этого свидания через 10 лет в Норильске.

Мои требования через тюремный надзор вызвать на действительный допрос успеха не имели. Ерман считал, что достаточно той фальшивки, которую они получили от меня 12 декабря 1937 года. Началось мое скитание по двум тюрьмам — внутренней и городской.

Обычно камеры, особенно общие, были переполнены. Каждый новый обитатель начинал продвижение от параши. С выводом из камеры старожилов новичок продвигался сначала под нары, а потом становился счастливым обладателем нар. Никаких посетителей не полагалось. Меня же перевели в одиночную камеру спецкорпуса. Помещение мрачное, маленькое зарешеченное окно под потолком. На стене зловещие надписи. Несколько ветеринарных врачей из Красноуфимска ждали приведения в исполнение смертного приговора. Последняя дата на стене — вчерашний день. В углу у двери печь, отапливаемая дровами. Печь на две камеры. Топка в коридоре. По «азбуке декабристов» из соседней камеры посоветовали найти у печки на полу отверстие, через которое

можно разговаривать. Сотрудник железнодорожной газеты «Путевка» Евсеев поведал о трагедии ветеринарных врачей. Их дело вел начальник отдела НКВД Варшавский. Он устроил врачам в отделе роскошный обед с фруктами. Договорились, что в Красноуфимске они выступят обвиняемыми на судебном процессе, признаются во вредительских действиях (травле скота и прочее). Их для виду осудят на разные сроки, а потом освободят. Обман удался. После оглашения смертного приговора они закричали, что их обманули. Но было уже поздно.

Через пару дней ко мне подселили австрийского коммуниста Лябуна, который работал в Москве, в органах Коминтерна. Привезен в Свердловск для оформления дела. Подписал материалы обвинения не читая. Не захотел знать, какие страшные обвинения предъявляются ему.

Из городской одиночки меня опять перевезли во внутреннюю тюрьму. В камере на первом этаже находился инженер Державин из города Березовского. В Свердловске, в тресте Уралзолото, работал его родной брат, о его аресте инженер узнал необычно. Его вызвали к парикмахеру, аккуратно выбрили, а затем — к следователю. Вскоре в кабинет следователя вошла жена брата. Она бросилась к нему, обняла со словами: «Разве ты тоже арестован?» Следователь понял, что привели не того Державина.

Недолго я пробыл в этой камере, перевели в другую, где сидели два работника цветной металлургии. Один из них — инженер-обогатитель Красноуральского медного завода Симонов.

В цветной металлургии Урала были два крупных специалиста-обогатителя — Симонов и Попов. Обогащение в то время было молодой отраслью промышленности. Появилось оно, когда перешли к отработке бедных руд. Оба обогатителя в 1937 году были арестованы и погибли. Симонов рассказывал, что в обвинении ему записали потери золота, неизбежные при обработке золотосодер-

жащих руд. Подсчитали за 10 лет, получилась внушительная цифра.

Мною следователи не интересовались и лишь время от времени перебрасывали из камеры в камеру. Так я оказался вместе с директором Алапаевского завода. Больной человек с ослабленным зрением. Плохо передвигался. На прогулки ходить не мог. Вши буквально кишели на его одежде. Он уже был арестован в 1936 году, но по каким-то причинам освобожден. Чувствовал, что новый арест неизбежен, и решил покончить самоубийством. Через железнодорожные пути станции Алапаевск перекинут мост для пешеходов и транспорта. Он на автомашине остановился над линией, по которой шел поезд, и сверху бросился на пути под паровоз. Машинист успел остановить состав. Изувеченного самоубийцу отвезли домой, а вскоре арестовали. Он мне понравился: рассуждал как настоящий большевик-ленинец. Попытку самоубийства осуждал.

Рядом с нашей была женская камера. Содержались в ней две коммунистки — Горина и Умнова. Надежда Степановна Горина трудилась в профсоюзе работников связи. Ее муж Вениамин Алексеевич Усталов, член ВКП(б), был инженером строительства Дегтярского рудника. Его арестовали, как члена семьи «врага народа». Как второстепенное лицо, он находился в общей камере городской тюрьмы. Был старостой камеры, где содержались более 100 заключенных. Надежда Степановна получала от него письма. Она была осуждена военной коллегией Верховного суда СССР и реабилитирована после 1954 года. В. А. Усталова, как члена семьи, в 1938 году освободили (в то время осуждали к срочному заключению только членов семей приговоренных к высшей мере). С ним я встретился в 1956 году по приезде в Свердловск. Он работал главным инженером проектного института Унипромедь.

В начале лета 1938 года меня в последний раз перевезли из городской тюрьмы и поместили в так называемую

КПЗ (камера предварительного заключения), в подвале под областным управлением милиции. Здесь, по-видимому, когда-то краткосрочно помещались уголовники. В период массовых арестов 1937—1938 годов КПЗ была филиалом внутренней тюрьмы НКВД. Неприспособленный подвал затоплялся ливневыми водами.

Когда мы заселили камеры, на койке, которая досталась мне, лежал матрац, середина которого была пропитана кровью. Пришлось перевернуть его. У дверей камеры около плинтуса обнаружили запись: «Погибаем от пыток. Палачи Гайда, Мизрах, Парушкин, Варшавский. Группа комсомольцев». По верху филенки, на полутораметровой высоте, азбукой Морзе сообщалось, что сидел здесь уполномоченный НКВД по Нижнему Тагилу.

Разговорился с В. В. Каоугалем, начальником ОКСа областного управления НКВД. Как строитель, он хорошо знал расположение подвала КПЗ. По его объяснению, в подвале вдоль проспекта Ленина имеется несколько комнат, в том числе прокурорская, где приводятся в исполнение смертные приговоры.

Товарищем по заключению оказался и главный инженер Главэнерго, бывший главный инженер Уралэнерго Ладогин. Бывалый матрос, участник гражданской войны, член ВКП(б) с 1917 года, он стал талантливым инженером. Арестовали его в Москве и привезли в Свердловск. Путем всяческих ухищрений следователь убедил его, что дело не в нем, а нужно сфабриковать материалы так, чтобы можно было предъявить английскому правительству неоспоримые данные о его шпионской деятельности против Советского Союза (Ладогин был в длительной командировке в Англии). Как мог такой умный, эрудированный коммунист хотя бы на время поверить явной чепухе, но поверил. Несколько дней Ладогин и следователь дружно фабриковали протокол допроса о шпионской деятельности. Следователь составлял, а Ладогин исправлял, чтобы материал выглядел правдоподобней. В разгар согласованной работы Ладогина вдруг перестали вызывать

к следователю. У него наступило прояснение. А в августе 1938 года Ладогина пропустили через выездную сессию военной коллегии Верховного суда СССР. Председатель сессии Зарянов не стал слушать его объяснений, а закричал: «Уведите от меня этого шпиона».

Четвертым сокамерником был юрист, член Московской коллегии защитников. В Свердловске не работал и даже не приезжал. Очевидно, Свердловское управление НКВД помогало московским коллегам обрабатывать тех, кто был намечен для репрессий. Юрист рассказывал, что ехал из Москвы в одном арестантском вагоне с авиаконструктором Туполевым. Туполева провезли дальше, в Сибирь.

Пятый — работник треста Уралцветмет, хозяйственник. И наконец, шестой — Тююшев, рабочий Верх-Исетского завода. Типичный уральский рабочий, сохранивший старинный уральский говор, бесхитростный труженик. Бессмысленность его ареста поражала. О причинах ареста сам он объяснял так. В Невьянском районном управлении НКВД работал его племянник, с которым у него были какие-то имущественные споры. Племянник грозил «упечь» дядю. Тююшев — инвалид первой мировой войны. Оба больших пальца рук прошиты пулеметными пулями и торчали в разные стороны. В Невьянске над ним издевались, заставляя часами стоять в углу. Однажды он не выдержал, снял брюки и опорожнился в кабинете следователя. Он часто вспоминал, что следователь обругал его так, как теперь «буржуев называют». Мучительно долго вспоминал, как именно, но не мог. Однажды ночью вспомнил, разбудил соседа и сказал: «Следователь назвал меня «пашистом!». Это оскорбление он считал самым тяжелым.

Ночью с 8 на 9 августа 1938 года меня вызвали к Ерману. Когда проводили по нижнему этажу внутренней тюрьмы, я понял, что приступила к работе военная коллегия Верховного суда СССР. Как и в январе 1938 года, на время ее работы обычный надзор тюрьмы осуществлял-

ся работниками милиции старших званий. Коридор застлан коврами, надзорные неслышно подходили к волчкам дверей, где сидели те, кто ждал осуждения.

Оказалось, что военная коллегия не удовлетворилась материалами моего дела, и Ерман решил провести очную ставку с главным геологом треста Уралмедьруда Аркадием Васильевичем Ефремовым, первооткрывателем крупного на Урале Лёвихинского месторождения. Я уже отмечал, что арестовали нас одновременно. В тюрьме мы с ним не встречались, но «тюремное радио» говорило, что он не поддается ни на какие провокации. Когда я вошел в кабинет, Ерман приказал мне сесть на стул при входе. На другой стороне комнаты за столом сидел Ерман, справа от него сотрудник, который вел протокол очной ставки, а слева — Ефремов. Ерман задавал вопросы Ефремову. Ответы меня поразили. Ефремов подтверждал, что был завербован Федораевым в контрреволюционную организацию в тресте Уралмедьруда, и подробно рассказывал о своем участии в контрреволюционной организации. Однако на последний вопрос: «Что вам известно о контрреволюционной деятельности Афанасьева?» — после некоторого замешательства сказал: «Я слышал от Федораева, что Афанасьев им завербован. Но я о какой-либо контрреволюционной деятельности Афанасьева ничего не знаю». Я в свою очередь категорически отверг предъявленные мне обвинения.

Под утро 9 августа в камеру вошел прокурор и вручил мне отпечатанное на машинке и никем не заверенное обвинительное заключение, из которого явствовало, по какой статье я предаюсь суду военной коллегии. Когда я прочитал его, то понял, что эта ночь будет для меня последней. По натуре я не особенно храбрый человек, но мысль о близкой смерти не вызвала тяжелых переживаний. Я устал от такой жизни. Решил поспать и крепко заснул. Разбудил стук надзирателя в дверь. Он дал мне мешок с биркой, предложил сложить вещи, на бирке написать свою фамилию.

8 августа 1938 года — первый день выездной сессии Я попал на второй день. Уже по пути, который я проделал «на суд» и обратно, познакомился с техникой молниеносного рассмотрения дел военной коллегией. Из подвала КПЗ выводили очередного заключенного и заводили в дровяник против окна моей камеры, чтобы он не столкнулся с тем, кого уже вели с суда. Потом из дровяника заключенный перемещался в небольшую комнату рядом с помещением, где заседал суд. Под «зал заседания» отвели место у одного входа в здание областной милиции. Выходную дверь закрыли и наглухо задрапировали плотной материей. Спиной к задрапированному входу сидел состав военной коллегии: председательствующий Зарянов, справа военный с ромбами в морской форме и слева тоже военный с ромбами. С краю за небольшим столиком сидел секретарь в чине капитана. Справа от входа стояло ведро с кружкой, от которого резко пахло валерьянкой. Стояло несколько скамеек для «зрителей», роль которых выполнял следственный аппарат управления НКВД.

Когда меня ввели и остановили там, где полагалось, впереди лицом ко мне стоял конвоир. «Ел глазами». Второй конвоир находился сзади. Судебное следствие было молниеносным. Зарянов удостоверился, что я Афанасьев, и спросил, знаю ли, в чем меня обвиняют. Мой ответ: «Сегодня ночью получил никем не подписанный, напечатанный на пишущей машинке текст обвинительного заключения».

Зарянов:

— Признаете ли себя виновным?

— Нет, не признаю.

— Что вы хотите от суда?

— У меня против партии и Советского государства никакой вины нет. Если признаете меня виновным, то уничтожьте. Исправляться мне не в чем.

Зарянов:

— Учтем. Уведите.

Сейчас для меня непонятно мое стремление к смерти. Видимо, целый год бессмысленного нахождения в следственной тюрьме, да еще в тяжелейших условиях, породило такое состояние.

Меня увели в КПЗ. Камера с нарами без окна. Капитальная стена выходила на проспект Ленина. В камере находилось шесть заключенных, которые прошли судебное следствие. Среди них оказался Аркадий Васильевич Ефремов. Он со слезами бросился мне на шею и объяснил свое поведение на очной ставке. Целый год он стойко держался и не соглашался подписывать провокационные протоколы. Дня три назад он заявил Ерману, что ему все надоело, что он хочет умереть и согласен подписать все, что ему предлагают. На мой вопрос, действительно ли ему говорил Федораев о моей вербовке в контрреволюционную организацию, Ефремов ответил, что такого разговора у него с Федораевым никогда не было. Ерман его убедил, что такие показания будто бы дал сам Федораев.

Когда число прошедших «судебное следствие» достигло 10 человек, нас по одному стали выводить в зал суда для заслушивания приговора. Осужденных к смерти уже никто не видел. Их уводили в подвал помещения, о котором говорил В. В. Каоугаль. Вход в подвал был выстлан коврами. Когда пришла моя очередь, меня быстро ввели в зал, и Зарянов приступил к оглашению приговора. Я признавался виновным по всем статьям обвинительного заключения. Мой слух уловил единственное фактическое обвинение: я так вел капитальное строительство на предприятиях треста, что вызвал пожары на рудниках. За весь год ни один следователь об этом и не заикнулся. Не было этого и в обвинительном заключении. А вот в приговоре этот «факт» оказался доказанным. Приговор: 12 лет тюремного заключения, 5 лет поражения в правах, конфискация имущества. При выходе из зала суда обвинительное заключение изъяли.

Ночью всех перевезли в городскую тюрьму. Поместили

в камеру, которая была вспомогательным помещением и не имела в двери традиционного волчка. Стояли жаркие, душные дни и ночи. Мы изнемогали в непроветриваемом помещении. Многие заболели. У меня вся спина покрылась сыпью (потница). Спали вповалку на полу.

Рядом со мной лежал М. К. Степанченко, с которым мы встретились вторично. Он спросил: «Кто это плакал и обнимал тебя в камере КПЗ?» Я ему рассказал о трагической гибели А. В. Ефремова. Был в числе осужденных к 12 годам тюремного заключения и главный инженер ОКСа Лёвихинского рудоуправления Труфанов. Познакомился я с Володей Бубновым, бывшим секретарем Пермского горкома ВЛКСМ, которого и в тюрьме не покидала комсомольская жизнерадостность.

Началась отправка осужденных военной коллегией в стационарные тюрьмы. В сентябре 1938 года пришел и мой черед.

7 января 1969 года.

Еще один год разменял. В октябре 1968 года при обкоме ВЛКСМ создан совет ветеранов партии, комсомола, войн и труда. Мне поручено руководить секцией ветеранов труда. Общественная деятельность, включая выступления с докладами в молодежных организациях, отгоняет мысли о старости. А она идет. Никуда не денешься. В связи с 50-летием комсомола ЦК ВЛКСМ наградил меня Почетным юбилейным знаком.

В один из сентябрьских вечеров 1938 года в камеру явился конвой для этапирования оставшихся осужденных. Вызывали группами по 8—10 человек, проверяли по спискам и в военном фургоне увозили на железнодорожную станцию Свердловск, где и водворяли в арестантский вагон. Маневровый паровоз повел вагон на прицепку в хвост поезда Свердловск — Ленинград. Обитатели арестантского вагона между собой не общались. Купе закрывались плотным материалом, чтобы не было видно, кого проводят в уборную. При посадке снабдили хлебом и селедкой на все время пути.

На станции Званка вагон отцепили и только через сутки прицепили к мурманскому поезду. Куда нас везут? Степанченко работал в Мурманской области и безошибочно определил — на Соловки. И действительно, вагон по железнодорожной ветке подали на пристань Попов Остров. После длительной стоянки заключенных погрузили на морской катер «Слон» (Соловецкий лагерь особого назначения).

Тяжело было проходить к катеру мимо стоявшего у пирса немецкого лесовоза с фашистской свастикой на борту. Команда глазела на нас, идущих под конвоем.

Часа два шел катер к Соловкам. Мрачные стены кремля наводили уныние. Холодный сильный ветер мешал двигаться. Степанченко совсем обессилел и не мог идти. Пришлось взять его багаж.

Нас приняли сотрудники тюрьмы и почти сразу повели в баню. После мытья холодной водой выдали тюремную одежду. Объявили карантин. Недели через две-три он кончился, и мы со Степанченко расстались: нас разместили в разные камеры. Я попал в мезонин трехэтажного монастырского здания. Здесь была просторная монашеская келья с двумя окнами на залив, где приставали катера прибрежного плавания. Окна снаружи на всю высоту задраены деревянными «намордниками» с раструбами вверху. В камере помещалось 6 человек. Подобраны были осужденные военной коллегией из разных областей СССР, все с тюремными сроками на 12 лет. Мы тогда еще помнили свои обвинительные заключения и быстро выяснили, что тексты документов сфабрикованы по единому стандарту. Менялись только собственные имена, места проживания и работа.

Арестантская жизнь строго регламентирована. Подъем. Оправка. Завтрак. Получасовая прогулка в деревянных боксах. Обед. Ужин. Отбой. Пищу через «кормушку» в двери передавал надзиратель. Гимнастика запрещена. Книг почти не давали, хотя библиотека была. Одного из нас посадили в карцер за то, что он якобы

через книгу пытался установить контакт с другими заключенными.

Связь с женой после декабря 1937 года у меня оборвалась. При опросе тюремной администрацией, с кем желаю переписываться, я указал свердловский адрес жены и воронежскую прописку тещи. Все сокамерники получили письма от родных и денежные переводы, а я — нет. Однажды, когда принимали заявку на продукты через тюремный ларек, я написал «на ура», хотя меня не извещали о поступлении перевода. Рисковал попасть в карцер. Продукты неожиданно получил, а через день меня ввели в пустую камеру, где дали прочитать письмо от жены. Она сообщала, что в течение целого года через следователя Гайду посылала ежемесячные денежные переводы, отправила и сапоги, когда Гайда сказал, что мне они нужны. Первый денежный перевод я получил лишь через полгода. (Забегу вперед: Гайда был арестован в 1940 году. Сначала осужден к тюремному заключению на 10 лет, а потом расстрелян.)

Сокамерники со временем надоели один другому. Что было интересного у каждого, все уже знали. Начались бессмысленные ссоры. Тюремное безделье убивало все человеческое. У одного заключенного появились на спине болячки-струпья. Он длительное время вызывал врача. Наконец в форточке-кормушке появилась голова молодого человека, назвавшего себя доктором. Заболевшему было приказано стать у своей койки и снять рубашку. Молниеносный осмотр спины через форточку и резюме: «Помощь не нужна». Форточка захлопнулась.

...Наступила весна 1939 года. Из окна доносился голос кукушки. Детвора звенела по-весеннему. Открылась навигация. В бухте слышны гудки судов, поддерживающих связь острова с материком. Тюремное прозябание становилось все невыносимее. И вдруг началось что-то необычное. В коридоре послышалось движение, обычно заглушенные шаги надзора сменились громким топотом. Вскоре нас стали вызывать на медицинский осмотр. Мы терялись в догадках.

3 Зак. 352

Однажды всех обитателей камеры повели в соседнее монастырское помещение, в обширную комнату, уже заполненную заключенными. В ней стояли железные кровати с постельными принадлежностями. От массы новых людей кружилась голова. Начались знакомства, разыскивались земляки. Странный вид был у людей в арестантском обмундировании. Ситцевые брюки имели желтые лампасы. На рубашках и бушлатах обшивались воротники и полы, а на спине бушлата что-то вроде бубнового туза. Многие объясняли, что желтые пятна — хорошая цель, если заключенный совершит побег.

Всех узников разбили на три смены. На острове начались круглосуточные земляные работы. Шло строительство аэродрома на берегу залива, делали дренажи вокруг зданий Соловецкого лагеря, сооружали фундаменты для какого-то большого здания на месте старого монастырского кладбища. После длительного безделья заключенные работали с большой энергией.

Те, кто трудился на берегу бухты, первыми увидели, что на рейде встало большое морское судно. Оно было для нас.

В солнечный день началась погрузка на лесовоз «Буденный». Чрево судна было приспособлено к перевозке людей, установлено шесть этажей деревянных нар по левому и правому бортам на всю высоту. В кормовой части уже находилось 400 заключенных-уголовников, которых погрузили в Архангельске. Всего арестантов было до трех тысяч. Мы со Степанченко разместились на четвертом этаже. Никаких постельных принадлежностей не полагалось. В Соловках выдали личные вещи. Они пригодились. Из вещей мы соорудили постели. Началось труднейшее морское путешествие совместно с судами Карской экспедиции 1939 года.

Спасательных средств на лесовозе не было. Позже ходили слухи, что, когда началась Великая Отечественная война, «Буденный» торпедировала немецкая подводная лодка, и с живым грузом он ушел на дно. Мы дошли

благополучно, хотя ох и тяжел был путь. На борту устроили небольшую будку — одноместную уборную. Круглые сутки здесь стояла очередь, ведь ехал трехтысячный отряд, а во-вторых, подъем на палубу, на свежий воздух из затхлого трюма, доставлял наслаждение. За несколько минут можно было окинуть взором неоглядные просторы моря с их тяжелыми, свинцовыми громадами волн. Иногда на горизонте появлялись шлейфы дымов судов Карской экспедиции.

Однажды лесовоз встал на якорь. Пополнялись запасы пресной воды и топлива. Недалеко стоял на якоре ледокол «Ленин». По палубе ходили люди, сушилось выстиранное белье. Тягостно было смотреть на эту картину нормальной человеческой жизни.

Среди заключенных организовалась группа «активистов» из более ловких и пронырливых. Командование лесовоза уполномочило их получать и распределять среди едущих хлеб, сахар и прочее. До шторма на палубе готовилась горячая пища, а затем перешли на сухое питание. Мучительно не хватало воды. Ее опускали на веревке в ведре с верхней палубы. Уголовники сосредоточивались на каком-либо этаже и перехватывали воду.

За время путешествия познакомились с товарищами по несчастью. В этапе не было крупных партийных и советских работников. По приговорам военных коллегий они остались навечно там, где их судили. Из сослуживцев по Уралмедьруде на лесовозе оказались В. М. Суворов, Р. М. Кац и Б. Б. Зееман (все беспартийные специалисты). Работники свердловского облплана Истомин и Фукс ехали больными. По приезде в Дудинку Истомин умер, Фукс скончался позднее в Норильске. Румянцев из Магнитогорска также вскоре после приезда умер в Дудинке. Председатель одного из райисполкомов Свердловска Фоминых перед войной был из Норильска вывезен в Свердловск, реабилитирован, но вскоре умер.

На восьмой день морского путешествия лесовоз бросил якорь против Дудинки. Береговой катер начал пере-

броску прибывших на берег. Первыми вывезли уголовников, которые уходили отягощенные вещами, награбленными у узников. Мы со Степанченко переночевали последнюю ночь на нарах лесовоза. Утром 18 августа 1939 года и нас погрузили на открытые платформы узкоколейной железной дороги, которой тогда был связан Норильск с Дудинкой. На дорогу выдали по банке рыбных консервов, которые тут же были съедены.

Поезд двигался медленно, но, к счастью, погода была нехолодная, что за 69-й параллелью редкость. Оказалось, мы прогадали, попав в последний эшелон. Мы ехали в единственном составе, который не дошел до Норильска. Нас выгрузили в тундре, километрах в восьми от города. На склоне горы Надежда виднелись лагерный пункт и объекты угольной штольни.

Начался тяжелый марш по мокрой, чавкающей под ногами тундре. Обессиленные, обладатели багажа бросали его на дороге. Лишь бы самим добраться. Прибывших расселяли в земляные бараки, которые наскоро были построены. Зону еще не огородили колючей проволокой, и обозначалась она колышками. Предупредили, что выход за «зону» считается побегом и оружие будет применяться без предупреждения. До нашего прибытия на «Надежде» уже была группа арестантов. Они встретили нас на правах старожилов. Меня, как горняка, потянуло на породный отвал, который отсыпался в зоне. На отвале встретился с двумя, судя по одежде, узниками. Один из них назвал меня по имени. Он оказался Сергеем Коноваловым, которого я когда-то знал как окрвоенкома из Ирбита. В момент ареста он был уже начальником Свердловского областного управления местами заключения. Второй тоже свердловчанин — Леонид Капуллер, заведовал хозяйственными делами Свердловского обкома партии и облисполкома. Обоих привезли из Полтавской тюрьмы.

Провели регистрацию прибывших. Не разобравшись, я записался у первого стола и ошибся — попал на общие

работы по прокладке узкоколейной железной дороги от угольной штольни до рудного карьера. Как потом выяснилось, за следующим столом регистрировали для работы в самой угольной штольне. Подземная работа лучше во всех отношениях — не на пурге, не в холоде. Но было уже поздно. Земляные работы, отвозка грунта в тачке в условиях Заполярья были очень тяжелыми. Такой труд требовал усиленного питания. После смены многие, и я в том числе, ходили в кухню помогать поварам-уголовникам чистить картошку, носить снег для таяния. Перепадал дополнительный кусок. Без этого выдержать было трудно. Тех, кто не выполнял норму, кормили «гарантией» — мизерным тюремным пайком. На «гарантии» люди скоро выбивались из сил и кончали моргом. Коновалов как-то сказал руководителям штольни, что чернорабочим на стройучастке работает горный инженер, те предприняли попытку взять меня в штольню, но воспротивился прораб-строитель — я числился одним из лучших рабочих.

Вспоминается первое утро выхода на работу. Еще не оправившиеся от изнурительного путешествия, все спали крепко. Вошел нарядчик из заключенных-уголовников. Приторно-слащавым голосом объявил: «Вставать пора! На работу, товарищи!» Все спят. Голос нарядчика загремел: «Вы что? Так вашу перетак... На курорт приехали? А ну живо! Марш из барака...» На верхних нарах остался лежать больной. Начальник конвоя, здоровенный верзила, поднялся к нему.

— Чего не встаешь?

— Болен.

— Есть разрешение медпункта?

— Не был у врача.

Верзила схватил больного как пушинку и бросил на пол. Бедняга вскочил и, качаясь из стороны в сторону, вышел из барака. Вскоре он умер.

Наш этап весь переболел дизентерией и куриной слепотой. Бани в зоне «Надежда» не было. В санитарный

день водили мыться в Норильск. Связь с городом была скверная. Из зоны выходили при хорошей погоде, а когда спускались в норильскую впадину, там бушевала пурга. Пропускная способность бани была такая, что нас делили на три группы. Одна моется, две ждут на морозе. А когда мылась третья группа, то первые две замерзали на улице. Многие погибли от этой бани.

Первая заполярная зима показала себя. Страшные, черные пурги. Черные буквально. В двух-трех метрах ничего не видно. В последующие годы эту черноту как-то уже не замечали.

Часто заключенных выгоняли на расчистку железнодорожных путей. С горькой усмешкой читал я в «Молодом коммунисте» № 9 за 1968 год очерк В. Москалева о Норильске: «А. П. Завенягин... создавал комсомольские ударные бригады, которые пробивали траншеи в снегу, чтобы по ним мог пройти железнодорожный состав. В эти бригады шли все комсомольцы...» Если в бригадах и были комсомольцы, то бывшие, осужденные, реабилитированные лишь после 1953 года. Многое для снегозащиты железнодорожной колеи сделал заключенный инженер Попов, который изучал силу и направление ветров. По его расчетам были установлены постоянные и переносные щиты.

Однажды по трассе строящейся узкоколейки проходила группа начальствующего состава. В идущем позади я узнал горного инженера В. Н. Масленникова, с которым работал в Свердловске, в Севгипроцветмете. Он узнал меня и пообещал устроить в проектное управление. Слово свое Масленников сдержал. Итак, я в Норильске. Когда перезнакомился с проектировщиками, то они оказались этапированными из разных тюрем, кроме Соловков,— из Орла, Полтавы, Казани, Мариинска, иркутского Александровского централа и других мест заключения. В 1939 году началось некоторое отрезвление. 1938 год промышленность и строительство закончили с плохими показателями. Требовались рабочие руки, чтобы испра-

вить положение. Всех арестантов решили перевести в категорию лагерников. Крупные объекты строительства, которыми ведал НКВД, в 1939 году получили рабсилу из тюрем строгого режима. В первую очередь укомплектовали лагеря Колымы, Воркуты и Норильска.

Состав заключенных Норильского лагеря — это необоснованно репрессированные в 1936—1938 годах. Бытовиков и рецидивистов-уголовников было процентов 25—30. К осужденным по 58-й статье они относились враждебно. Понимали вздорность обвинений в политических преступлениях, но злорадствовали: «Хорошо с вами разделались Сталин и Ежов!..»

Из идеологических врагов нашей партии в лагере я встретил лишь одного — бывшего анархиста Нахамкина. Он как был по своим убеждениям анархистом, так и остался.

Среди необоснованно репрессированных первое слово хочется сказать о профессоре Н. Н. Урванцеве, который разведал норильское месторождение. Товарищи по лагерю шутили над ним: «Николай Николаевич! Нельзя ли закрыть Норильск, а открыть где-нибудь поюжнее?»

В отделе запуска проектов работали А. Гарри, Е. Драбкина, М. Нанейшвили со своим братом. Об Алексее Николаевиче Гарри хороший очерк написал репортер «Известий» Л. Кудреватых (Неделя, 1969, 19 янв., № 3.): «В двадцатые и тридцатые годы имя Гарри стояло в первом ряду набирающей силу советской журналистики. Кольцов и Гарри!!! Перенеся все лишения тюрем и лагерей, Гарри дожил до реабилитации. В газете «Известия» появилось сообщение: «20 мая 1960 г. скончался член Союза писателей, активный участник гражданской войны, кавалер двух орденов Красной Звезды А. Н. Гарри».

Елизавета Драбкина — член КПСС с 1917 года, участница гражданской войны, журналистка и писательница, секретарь Я. М. Свердлова, дочь известных большевиков-подпольщиков. После допросов Е. Драбкина потеряла слух, но не потеряла жизнелюбия и веры в лучшее

будущее. После 1953 года она почти шепотом, как говорят глухие, вселяла во всех надежду: «Теперь скоро будем на свободе».

Мария Викторовна Нанейшвили, жена генерального секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Косарева, дочь старого большевика, секретаря Пермского окружкома ВКП(б) Нанейшвили, держала себя в лагерных условиях достойно. Когда ее арестовали в Москве, то осталась беспризорной малолетняя дочь. Ее взяли на воспитание мужественные люди. В 1950—1951 годах, когда проходила новая волна арестов, вспомнили, что дочь Косарева подросла. Ее арестовали и выслали в Красноярский край. Больших усилий стоило Марии Викторовне добиться, чтобы дочери разрешили отбыть ссылку в Норильске с матерью. Сейчас после реабилитации они живут в Москве.

Писатель Евгений Рябчиков тоже вкусил горького хлеба Норильска. О нем вспоминает авиаконструктор А. С. Яковлев в своей книге «Цель жизни». «Центральный аэроклуб стал одной из жертв «ежовщины». В связи с «делом» аэроклуба пострадал и сотрудник «Комсомольской правды» Евгений Рябчиков. Наши отношения с Женей Рябчиковым не ограничивались только служебными. В один из дней 1937 года он пригласил на свой день рождения. Собралось много журналистов, вечер прошел очень весело. Разошлись в первом часу ночи. В ту же ночь Женю арестовали, как ...«врага народа». В конце войны Яковлев, тогда заместитель наркома авиационной промышленности, на приеме у Сталина встретился с одним из первых начальников строительства Норильского горно-металлургического комбината Завенягиным. Пользуясь хорошим настроением Сталина, Яковлев заговорил с Завенягиным о Рябчикове и попросил, если можно, пересмотреть его дело. Сталин обронил: «Посмотрите». Это оказалось достаточным. Вскоре Рябчикова освободили.

Познакомился я с разбитым параличом грузином Мишей Амирджаби. Он — прокурор Закавказского военного

округа. Когда начались необоснованные аресты среди военных, Амирджаби пытался воспользоваться правами прокурорского надзора для пресечения беззаконий, но все было тщетно. Тогда он выехал в Москву. Его внимательно выслушали, пообещав дать соответствующие указания. Когда на обратном пути он выходил из вагона, то был тут же на вокзале арестован. Инвалида Амирджаби затем «списали», но дальше Дудинки он не уехал — умер.

Иосиф Иванович Заплавский, начальник шахты «Центральное — Ирмино» (в Донбассе), организовал рекорды Алексея Стаханова по добыче угля, которые прогремели на весь Советский Союз. Стаханов и сейчас гремит, а Заплавский, как «враг народа», отбывал срок в Норильском комбинате-лагере. Киностудия выпустила картину о вредительстве в Донбассе, в которой одной из колоритных фигур по вредительству и диверсии являлся Поплавский (читай Заплавский). Подходил к концу срок его приговора. Работал на угольной штольне «Каеркан» (на полпути между Норильском и Дудинкой). Одну неделю не дожил И. И. Заплавский до конца срока. Умер от разрыва сердца.

Александр Иванович Мильчаков, генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ, блестящий оратор, талантливый журналист, реабилитации в 1954 году дождался в норильском лагере.

В Норильске я встретил и бывшего ректора Свердловского горного института Петра Яковлевича Ярутина, которого привезли из Полтавской тюрьмы. Его я уже упоминал: в августе 1937 года в Свердловской внутренней тюрьме НКВД в камере № 28 мне досталась постель, которую мне «сдал» Ярутин.

15 марта 1969 года.

Суровая зима на исходе. Стало теплее, но эпидемия азиатского гриппа свирепствует. Три раза начинал болеть. Лежал в постели. Кололи. Как будто прошла болезнь. Выйдешь и — снова грипп. В начале марта ездил от обкома ВЛКСМ в командировку в Пышминский район

(за Камышловым). Приехал и в третий раз слег. Давно не был в селах. Дышится легче. Приятно смотреть на деревянные дома с резными и ярко крашенными наличниками. Глаз радуется после бетонных и кирпичных стандартных строек.

22 июня 1941 года в проектном институте был нерабочий день. На территории второго лаготделения из динамика я услышал обращение Молотова в связи с нападением на Советский Союз гитлеровской Германии. Передача по лагерной трансляции была прервана. Несколько дней не работало радио. Все настороженно ждали развития событий, каким будет отношение к заключенным в связи с войной. Вспоминали 1937—1938 года, когда в лагерях работали «тройки» и «вносили исправления» в приговоры. Многие осужденные к тюремным и лагерным срокам решениями «троек» уничтожались. На Соловках называли гору Секирную, где проводились расстрелы, в Норильске — «Второй Норильск», в Дудинке — «акваторию Енисея».

Ждали провокаций. К счастью, события пошли по другому пути. Через несколько дней были восстановлены радиопередачи. Никаких секретов от заключенных о ходе военных событий не делалось. Отношение к нам стало даже человечнее. Среди заключенных началась массовая подача заявлений о направлении на фронт для защиты Родины. Все знали, что если и удовлетворят просьбу, то начинать боевую жизнь придется в штрафных батальонах. Лишь рецидивисты-уголовники оставались в стороне. Подавшие заявления прошли медицинские экспертные комиссии. Через некоторое время было объявлено, что на фронт пошлют, когда потребуется, а пока надо работать в норильском комбинате, обеспечивающем фронт оборонным металлом.

Известен случай, когда из Норильского лагеря по настоянию военкома отправили на фронт по их просьбе нескольких заключенных, работавших в геологоразведочной партии на Нижней Тунгуске. Один из мобилизованных, ученый Гумилев, сын Анны Ахматовой, писал потом

в Норильск, что он попал в Москву «через Берлин». Тюремная одиссея Льва Николаевича Гумилева на этом не закончилась. Он вновь был арестован. И еще в марте 1956 года об его освобождении ходатайствовали мать Анна Андреевна Ахматова и писатель Александр Александрович Фадеев. (Александр Фадеев. Письма 1916—1956 гг.— М.: Сов. писатель, 1967.— С. 421. Письмо от 2 марта 1956 года «В главную военную прокуратуру».)

Война меняла состав лагерного населения. Ежегодно с открытием навигации по Енисею привозили военнослужащих, осужденных военными трибуналами, и жителей оккупированных немцами районов (за связь с врагом). В те годы зачеты за добросовестную работу арестантов были отменены. А зря. Они ускорили бы строительство Норильского комбината. Правда, два-три раза заключенным, занятым на инженерно-технических должностях и отличившимся на работе, сокращали сроки. За участие в проектировании горных объектов мне дважды снижали сроки — на полтора и на один год.

В феврале 1947 года меня вывезли из-за проволоки. Срок закончен. Решил никуда из Норильска не выезжать, так как получил паспорт с ограничениями места жительства. Ограничения касались столиц республик, областных центров, крупных рабочих районов. Паспорт вроде «волчьего». Жене с двумя детьми я не советовал ехать в Заполярье. Она не стала слушать никаких доводов. Пришлось договориться с начальником проектного управления А. Е. Шарайко, чтоб ей послали вызов. В июле 1947 года Нина приехала, а с нею 12-летняя дочь Ира и 10-летний сын Боря, родившийся через десять дней после моего ареста, которого я еще не видел.

Жена, оставшаяся в свои 24 года «соломенной вдовой» с двумя детьми на руках, вела себя геройски и в 34 года. Не задумываясь, поехала в Заполярье и не считала это подвигом. Она поступила работать старшим техником в проектное управление. Ребята стали учиться в школе. Вроде жизнь устраивалась.

После окончания войны режим в лагерях стал ужесточаться. Появились «каторжные командировки», в которые собирали всех заключенных, осужденных по 58-й статье и по воинским статьям. В основном в них были осужденные в военное время. На верхней одежде заключенных стали ставить номера. По приходе с работы узников закрывали в бараках на замок. Многих, осужденных в 1937 году и не закончивших срок наказания, отправляли досиживать в стационарные тюрьмы. Так, М. К. Степанченко перевели в Александровский централ под Иркутском. По окончании срока он снова приехал в Норильск, но уже как вольнонаемный.

Из проектного отдела меня перевели преподавателем специальных горных дисциплин в Норильский горно-металлургический техникум. В техникуме я встретился с очень интересным человеком — Н. М. Федоровским. Николай Михайлович, член КПСС с 1904 года,— крупный ученый-минералог, член-корреспондент АН СССР. Он был одним из основателей Московской горной академии. По указанию Ленина Николай Михайлович ездил в Берлин для приобретения научной литературы, активно переписывался с Эйнштейном, дружил с А. Е. Ферсманом. Репрессировали Федоровского в 1937 году. В 1949—1950 годах преподавал в Норильском горном техникуме. В 1950 году его отстранили от преподавания и поместили в режимный лагерь (горлаг). После реабилитации дочь увезла его, разбитого параличом, в Москву. В 1958 году «Правда» поместила траурное извещение ЦК КПСС о смерти Николая Михайловича.

Третьим начальником Норильского комбината после А. А. Панюкова был инженер В. С. Зверев, выпускник Орджоникидзевского института. Как начальник он был деятельный, инициативный. Ужесточение режима шло, по-видимому, помимо него. Он был бессилен что-либо предпринять. Большую роль в жизни лагеря стал играть политотдел, который возглавлял Кузнецов, участник пьяных оргий. Ему было безразлично развитие комбината,

лишь бы режим соблюдался. В 1950 году по указанию МВД было решено «очистить» комбинат от бывших заключенных-специалистов. Из нашего техникума всех преподавателей уволили, предложили покинуть территорию комбината. Жену, как специалиста, работающего в проектном отделе, оставили в Норильске.

Куда ехать с «волчьим» билетом-паспортом? С Е. К. Красницким мы решили вылететь самолетом в Красноярск. Через 13 лет я впервые оставлял Заполярье. Первая остановка с ночевкой в Туруханске. Осенняя тайга после тундры казалась сказочным зрелищем. Полузабытый воробей выводил своим чириканьем столько рулад, что казался соловьем.

В объединении Красноярскуголь нам посоветовали ехать в трест Канскуголь. Управляющий трестом Попов обрадовался притоку специалистов. Мне предложили работать старшим инженером-экономистом. Через месяц получил двухкомнатную квартиру. Но к счастью, не успел вызвать семью. Как я и чувствовал, органы МВД играли с нами как кошка с мышкой.

В октябре 1950 года приехавшие специалисты стали исчезать. Однажды ко мне на работе подошел «некто» в штатском, попросил пройти в соседнюю комнату и предъявил ордер на арест. Пошли на квартиру, я взял все, что могло пригодиться, и... снова тюрьма. Внутренняя тюрьма Красноярского краевого управления госбезопасности.

Началась комедия с оформлением дела, состряпанного в 1937 году,— дела, по которому я был осужден и уже отбыл срок. Нормы уголовно-процессуального кодекса, которые следовало выполнять в 1937 году, начали выполнять с большим усердием в 1950—1951 годах. В следственную комнату приходил военный прокурор в чине подполковника или полковника, и в его присутствии предъявлялось обвинение. Стыдно было за этих прокуроров в больших чинах. В 1923 году и я был прокурор по первому Ленинскому декрету. А кем были они?

Дело вел следователь майор Борисов, человек неглупый, любящий советскую литературу. Он с большим удовольствием в своем кабинете вел разговор о творчестве Горького, об отдельных его произведениях. На мое недоумение по поводу новой судебной комедии Борисов отвечал, что на этот счет есть указания свыше. «Неужели вся наша энергия уходит на это?» — спрашивал я. Через некоторое время, опять-таки в присутствии военного прокурора, мне было объявлено об окончании «следствия».

За время пребывания в тюрьмах, лагере и ссылке я встретил лишь в Красноярской тюрьме одного (только одного!) ренегата из арестованных в 1937 году. В момент ареста он, инженер-текстильщик из Москвы, имел билет коммуниста. Человек этот вращался в руководящих сферах. После тюремного заключения по приговору работал на канской текстильной фабрике. Каких только гнусностей не услышал я от него и по адресу компартии, и даже по адресу Ленина. Как он восхвалял буржуазный мир! И все только потому, что пострадал.

После длительного пребывания в тюрьме в марте 1951 года мне объявили постановление Особого совещания при МГБ СССР от 13 января 1951 года о ссылке в отдаленные районы без указания срока. Я попросил направить меня в Енисейск. Мне выдали проходное свидетельство и предложили добираться «своим ходом».

Денег на самолет нет. Ехать попутной грузовой машиной не мог — нет валенок. Даже шапку за сутки до ареста у меня украли. Зашел в знакомую квартиру, где встретил жену Красновицкого — Екатерину Петровну. Она дала мне валенки и шапку, и я поехал в Енисейск в кузове грузовой машины. Стояли сильные морозы. К тому же, когда до Енисейска оставалось шесть километров, буран окончательно перемел дорогу. Чтоб не замерзнуть, я эти шесть километров одолел пешком. В гостинице под несколькими одеялами отогрелся и заснул. На другой день познакомился с одним ссыльным рабочим, который арендовал дом из двух комнат. Одну он сдал мне.

Оказалось, что устроиться ссыльному на работу было почти невозможно. Куда бы я ни обращался, в приеме отказывали. Настроение хуже некуда. Когда выходил на берег Енисея, то появились мысли: не воспользоваться ли услугами проруби...

В комендатуре, где ссыльные отмечались два раза в месяц, висел указ за подписью Молотова, что за побег или его попытку виновные подвергались тюремному заключению на срок до 25 лет. А побегом считался выход за околицу населенного пункта.

Но все же мне повезло. Я устроился в стройконтору № 1 Норильского комбината, которая достраивала аэродромы на трассе Норильск — Красноярск. Стал мастером земляных работ на летном поле. Мое продвижение по службе было стремительным: вскоре старший мастер, а затем и старший прораб.

Проектный отдел комбината, узнав о моей судьбе, добился разрешения начальника комбината о моем возвращении в Норильск. Жена взяла отпуск и приехала с сыном в Енисейск, затем съездила в Красноярск, чтобы ускорить решение моего перевода в органах госбезопасности. Когда в сентябре 1951 года я наконец получил возможность выехать в Норильск, то до Дудинки шли уже последние пароходы. Мы с трудом сели на один из них, без места, спали на полу палубы. От Дудинки до Норильска ехали на открытой платформе узкоколейки. Дождь. Снег. Ветер. Холод. Жена в результате заболела экссудативным плевритом. Врач-рентгенолог Елена Васильевна Зееман спасла ее от рокового конца.

1951—1953 годы я работал в проектной конторе комбината. Отношение к ссыльным ухудшалось. Ходили слухи, что они будут переведены на лагерное положение, а семьи выселят. Шла ставка на уничтожение остатков репрессированных в 1937—1938 годах. А необоснованные репрессии продолжались: «ленинградское дело», «дело врачей».

Март 1953 года. Из выступлений Молотова, Мален-

кова, Берии над гробом Сталина явствовало: надеяться на изменение политики необоснованных репрессий оснований нет. Амнистия 1953 года, выработанная Берией для уголовного элемента, не относилась к осужденным по 58-й статье. По стране прошла волна убийств, ограблений и прочих преступлений. Продолжалось это до тех пор, пока облагодетельствованные амнистией преступники вновь не были осуждены.

За 15 лет после приговора военной коллегии десятки раз я обращался в Центральную военную прокуратуру, военную коллегию Верховного суда СССР, к Генеральному прокурору СССР, в центральные партийные и советские органы с заявлением об отмене неправосудного приговора. Каждый раз получал стандартный ответ: «Оснований для пересмотра нет». Снова и снова я писал, приводя доводы, которые мне казались убедительными, но ответы не менялись. Во второй половине 1953 года написал длиннейшую обоснованную жалобу с указанием фактов, которые должны выяснить органы суда и следствия, чтобы установить мою невиновность. И вот косвенным образом я узнаю, что по моей последней жалобе производится расследование. Допрашиваются те, на которых я ссылался. В 1954 году жена была в Москве, в Центральной военной прокуратуре, и там ей сказали, что по делу ведется расследование и можно надеяться на положительное решение. Военная прокуратура и тут оказалась неискренней: когда давали жене эту неопределенную справку, военная коллегия Верховного суда СССР уже отменила приговор. Вот текст этого долгожданного акта: «Дело по обвинению Афанасьева Петра Михайловича пересмотрено военной коллегией Верховного суда СССР 25 августа 1954 года. Приговор военной коллегии от 9 августа 1938 года и постановление Особого совещания при МГБ СССР от 13 января 1951 года в отношении Афанасьева П. М. по вновь открывшимся обстоятельствам отменен, и дело за отсутствием состава преступления прекращено».

Потребовалось 17 лет, чтобы сказать, что в моих действиях не было состава преступления! Но и то — лучше поздно, чем никогда.

Послал заявление в ЦК КПСС о моем восстановлении в партии. Получил письмо с просьбой прибыть в Свердловский обком партии. Руководство комбината при содействии начальника главка А. А. Миронова оформило командировку для поездки на Урал.

Работник обкома рассказал, что он еле нашел материал о моем исключении из партии в Ленинском райкоме. Постановление датировано ноябрем 1937 года. Целых три месяца я сидел в тюрьме и числился членом партии. В декабре 1954 года я присутствовал на заседании бюро Свердловского обкома КПСС, решением которого восстановлен в рядах партии с прежним стажем.

Съездил в Дегтярку, в Левиху и на родину в Таватуй. Знакомые встречали, как выходца с того света. Бедная мама не дождалась моего возвращения...

Новый, 1955 год встречал в Норильске с женой. Ира училась в Ленинградском университете, Боря — в Ленинградском политехническом институте.

Изъятые при аресте в 1937 году партийные и советские документы и реликвии получить не удалось. Их уничтожили.

Май 1971 года.

После всех злоключений мы с женой уже более 15 лет живем в Свердловске. Стареем. Радуемся жизни детей.

10 октября 1971 года стукнет 75 лет. К закату жизни годы мчатся с космической скоростью. Теперь дети, и Боря и Ира, оба кандидаты наук. Боре можно собирать материалы для докторской диссертации. Что он, кажется, и делает.

Живем с женой сейчас в нормальных условиях: двухкомнатная благоустроенная квартира. Было бы здоровье. А друзей детства, просто хороших знакомых становится все меньше и меньше. Умер Анатолий Иванович Пара-

монов, член КПСС с 1907 года. Ушли из жизни Макаровы Владимир Иванович и Юлия Васильевна, друзья по норильским скитаниям. Умерла сестра Павла. Моложе меня на 4 года. Остались мы вдвоем с братом Алексеем. Он младше меня на 8 лет.

В октябре 1971 года на торжественном собрании в институте Унипромедь коммунисты, сотрудники отмечали 75-летие П. М. Афанасьева. Говорили много хорошего. А одно короткое выступление коснулось сердца каждого. Поднялся невысокий седой человек.

— Мы вместе были в Норильске много лет. Его постоянно выбирали старшим среди коллег-заключенных. Потому что не было среди нас честнее и прямее человека... А вы представляете, что такое быть старшим в лагере?..

Он хотел сказать еще что-то, но не смог. Сел, опустив голову, чтобы окружающие не видели слез. Это был бывший ректор горного института П. Я. Ярутин.

О революции, о первых годах Советской власти и рождении комсомола, об индустриализации, о партии рассказывал П. М. Афанасьев молодежи. Он любил бывать среди тех, кому строить будущее. И никто из слушателей не представлял, что Петр Михайлович пострадал в годы сталинизма. Записки помогут восполнить пробел, понять, как это было с Афанасьевым, с другими преданными партии и Родине людьми, подвергшимися репрессиям. Да, это было.

Петр Михайлович один из немногих, кто за большую работу по коммунистическому воспитанию молодежи занесен в областную книгу «Ветеранов-активистов» Свердловского обкома ВЛКСМ.

В 1980 году его не стало.

Софья
ШВЕД

Воспоминания

Автор этих воспоминаний Софья Ароновна Швед — металлург-исследователь, член партии с 1927 года, родилась в местечке Песчанка нынешней Винницкой области в 1905 году. С шестнадцати лет начала жить самостоятельным трудом. С 1925 по 1929 год жила с мужем в Серпухове. Работала там ткачихой, была активисткой комсомольской, профсоюзной и партийной работы. Училась в Московском высшем техническом училище имени Баумана, затем, в 1931 году, перевелась в Уральский индустриальный институт имени С. М. Кирова в Свердловске, где спустя четыре года получила диплом инженера. В дальнейшем трудилась на Уралмаше, Челябинском металлургическом комбинате, на других уральских предприятиях. С 1958 года до выхода на пенсию работала старшим научным сотрудником научно-исследовательского института металлургии в Челябинске. В 1977 году С. А. Швед умерла.

Ее муж — Иосиф Соломонович Коган — в прошлом участник III съезда комсомола, преподаватель политэкономии в вузах Москвы и Урала, работник планово-хозяйственных органов. В 1935 году И. С. Коган — в то время заведующий сектором сводного планирования Уралплана — был необоснованно репрессирован; умер, находясь в заключении. Полностью реабилитирован. В 1937 году была осуждена, как «член семьи изменника Родины», и Софья Швед. В 1943 году она была освобождена, а в 1956-м — реабилитирована.

Воспоминания написаны в 1970—1975 годах. Естественно, что оценка автором событий и фактов далеких лет в ряде случаев могла и не быть достаточно точной и исчерпывающей, что позволяет сделать наше время открытости и решительного переосмысления исторического прошлого страны. В публикующемся тексте, который предоставили нам сыновья Софьи Ароновны Ф. И. и А. И. Шведы, инженеры челябинских предприятий, сделано несколько необходимых фактических поправок, произведены небольшие сокращения.

Первые тетради порвала. Хотела и остальные, да жаль...

В середине тридцатых годов слова Сталина: «Жить стало лучше, жить стало веселее» — повторялись как заклинание. Действительно, заводы-новостройки начали давать продукцию. Деревня стала получать машины и осваивать их. Колхозы укреплялись. Немалую помощь оказывали деревне энтузиасты колхозного строительства — городские пролетарии. Укреплялась продовольственная база, была упразднена карточная система, закрыты распределители, хлеб продавался повсеместно, правда, по повышенным ценам.

Большие резервы повышения производительности труда вскрывало стахановское движение, однако оно же вызвало и много отрицательных явлений, о которых я хочу рассказать.

Первые успехи стахановского движения — резкий рост производительности труда у одиночек-рабочих в различных отраслях производства, бывший результатом не только хорошего овладения профессией, правильной организации труда, но и того, что эти товарищи, идя на выполнение рекордных заданий, не щадили своих сил, с одной стороны, и требовали создания для себя исключительно благоприятных условий — с другой. Это были отдельные рывки, а не массовое повышение производительности труда. Вместе с тем на основе этих рывков стали строить

фантастические планы. Так, например, уже поговаривали о том, что к концу второй пятилетки в стране будет вырабатываться 64 млн тонн стали. (Известно, что к началу войны выплавлялось стали чуть больше, чем в 1936 году,— 18,3 млн тонн.)

Всякие попытки планирования с учетом реальных возможностей объявлялись предельщиной, перестраховкой, ученым мусором, равнением на узкие места и т. д.

А жизнь шла своим чередом, и никакого «чуда», «ломки окостенелых научных законов» не произошло.

В этих условиях нетрудно было вызвать массовый психоз искания врагов, где они были и, еще более того, где их и в помине не было. А сверху, навстречу этому психозу, шло сознательное стремление расправиться со всеми, у кого можно было подозревать какие-либо критические мысли.

Массовые аресты начались не в 1937 году, а значительно раньше, постепенно нарастая. 1937-й — год апогея репрессий и полного беззакония в ведении дел, но уже в 1935 году имели место массовые аресты среди работников идеологического фронта.

Август 1935 года. Мы живем на даче под Свердловском, на Шарташе. Мы — это мой муж Иосиф, я и трое сыновей (Вова, Феля и Шурик). У Иосифа отпуска не было, и он каждый день ездил с дачи на работу. В июле я защитила дипломный проект после года работы при штате ЦЗЛ Уралмаша в качестве инженера-исследователя. Институт настоял через наркомат на моем переводе с Уралмаша для работы по кафедре стали. Для меня это было очень нежелательно, но делать нечего: с 1 сентября я должна приступить к работе в институте.

В ночь на 27 августа мы собираемся отправить Вовочку в Москву. Поедет мальчик с Ишмаевым, товарищем Иосифа, который ночью заедет за ним на нашу городскую квартиру. Все мы, кроме маленького Шурика, но-

чуем в городе. Вечером 26 августа собираемся усталые от предотъездовских волнений и приготовлений. Муж сильно затосковал по Шурику: как это мы могли оставить его одного с малознакомой женщиной? Наверное, плачет там малыш, скучает... Я даже прикрикнула на него: «Брось скулить, ребенок наверняка уже спит. Завтра утром мы с Феликсом пораньше уедем на Шарташ, и обещаю тебе позвонить на работу, а к вечеру сам приедешь и убедишься, что с Шуриком ничего не стряслось». Часов в 11 вечера, не раздеваясь, легли спать. Через некоторое время меня будит Иосиф. Вздрагиваю: что, уже за Вовочкой приехали?

— Нет, за мною!!!

Я долго не могу понять, что значит «за мною», но когда поняла... Случись в этот момент землетрясение, взрыв бомбы в моей комнате — разве это могло бы идти в сравнение с этими двумя словами «за мною»! Разве я могла заранее предположить такое?

Но таково уж, очевидно, свойство человека, что воображение его ничтожно в сравнении с внутренними силами, которые он способен мгновенно мобилизовать под напором событий. Я не помню никаких внешних реакций, даже, наверное, не вскрикнула и спокойно вышла в переднюю комнату, где уже полным ходом шел обыск.

Зазвонил телефон. Ишмаев предупреждал, что сейчас подъедет за Вовочкой. Уполномоченный НКВД, который слушал Ишмаева вместе с Иосифом, приказывает ответить, что отъезд Володи отменяется, он заболел.

К концу ночи Иосиф совершенно измотался. Он тогда болел малярией, которую весною подхватил на лесозаготовках, будучи уполномоченным по ряду районов (Чермоз, Добрянка и др.). Прислонился к косяку двери; вид, конечно, паршивый, и уполномоченный счел нужным заметить: «Берите пример с вашей жены, какая она бодрая». На что я довольно зло огрызнулась: «Между мною и Коганом разница лишь в том, что он после тяжелого малярийного приступа, а я совершенно здорова».

Вот таким, возле двери, мне и запомнился наш дорогой на всю жизнь. Это было его прощание с домом, с семьей.

Обыск длился долго. Перелистывались все книги, хотя содержанием их явно не интересовались. Более того, муж сам сказал им, что в бюллетенях XV съезда партии имеется текст «Завещания» Ленина, но никто не обратил на это внимания, хотя документ считался секретным (отец был на съезде с гостевым билетом и получил там комплект бюллетеней, в которых по требованию «новой оппозиции» — Крупской, Зиновьева, Каменева и др.— было опубликовано «Завещание»).

Как «вещественное доказательство вины» мужа был взят только один блокнот, о содержании которого я скажу позднее.

Итак, увели! Я проводила Иосифа до машины.

Вернулась в дом, где спали дети, ничего не ведая. Собственно, их постели тоже перерыли, но даже более взрослый Володя ничего толком не понял.

Одна...

Только безграничная вера в Иосифа, вера, что все должно выясниться, стать на свое место, спасали от отчаяния.

А тут сразу обступила масса забот: надо привезти Шурика домой, попытаться узнать что-либо в НКВД о причинах ареста, получить хоть какую-нибудь весточку от Иосифа, заявить о случившемся в свою парторганизацию и т. д. и т. п.

А сумею ли я приступить к работе 1 сентября? Ведь я совсем без денег: почти последние были истрачены на покупки для Вовочки и на железнодорожный билет (который, конечно, пропал).

Первое, что я делаю, беру газеты, книги, одеяло и мчусь в НКВД, чтобы передать Иосифу вместе с запиской. Когда спросила, будет ли ответ, надо мною только посмеялись. К началу рабочего дня я уже в облплане — прошу машину на Шарташ. Мне ее тотчас же дают, и, хотя я ничего не говорю управделами о ночных собы-

тиях, он явно в курсе дела и делает вид, что глубоко сочувствует мне, вздыхает, закатывает глаза. Еду на Шарташ. По дороге меня обгоняет машина НКВД. Забираю в присутствии уполномоченных ребенка и вещи, один из уполномоченных садится в мою машину, и едем в город, где тщательно просматриваются все вещи, привезенные с дачи, но, конечно, ничего подозрительного не обнаруживается.

Иду в институт, в партийную организацию. Рассказываю о случившемся. Меня успокаивают, говорят, что все выяснится, знаем тебя давно и доверяем. Это, конечно, сильно поддержало меня.

Но... с 1 сентября я к работе все же не допущена. Меня, собственно, считают сотрудником института, но преподавательской нагрузки не дают и по исследовательской работе никаких конкретных заданий (это после того, что институт настоял на моем переводе с Уралмаша!). А денег нет. Продала часы — мои и Иосифа, но этим исчерпываются наши личные «ценности». Остаются книги. Книги, которые с таким трудом, любовью и знанием дела подбирались Иосифом (а отчасти и мною). И вот их приходится продавать, разорять такую дорогую для нас библиотеку...

О причинах ареста никаких справок не дают и записок от Иосифа не передают до середины сентября. И вдруг я начинаю получать от него одну записку за другой с настойчивыми советами поскорее увезти не только Вовочку, но и малышей к кому-нибудь из родных. Позднее, во время единственного личного свидания, которое мы имели с Иосифом, он объяснил мне, что на допросах в первый период его так много расспрашивали обо мне, что он считал неизбежным и мой арест и поэтому хотел, чтобы ребята были подальше.

В конце сентября я и решила увезти Володю к маме, а Феликса и Шурика к сестре в Гайсин.

Накануне отъезда Вовочка приходит с улицы и спрашивает: «За что нашего папу посадили?» Я попыталась

посмеяться над ним, сказала, что папа в больнице, но он все твердил: «Нет, посадили в тюрьму, все ребята так говорят». Володюшку не обманешь, ему уже 11 лет!

* *
*

Я жила в Свердловске без детей и без постоянного заработка около пяти месяцев. Продавала книги, временно работала то в одной, то в другой библиотеке; пользуясь тем, что я хорошо знала библиотечное дело, приводила в порядок каталоги, занималась классификацией книг. Написала статью для «Уральской металлургии» по теме своей дипломной работы и получила за нее оплату и т. д., но на постоянную работу устроиться никак не могла.

Везде — на ВИЗе и на других предприятиях — очень хорошо принимали, обещали зачислить в штат, но окончательный ответ откладывали до выяснения «некоторых деталей», а когда я приходила вновь, узнавала, что, «к сожалению, мест нет».

Единственно, где я была принята на работу всерьез, это был Челябинский тракторный завод. Мне посоветовали поехать туда, имея в виду, что на заводе была очень большая нужда в инженерно-технических работниках. Из института же получила отличную характеристику, и, несмотря на мои «ужасные» биографические данные, я тут же была зачислена в штат и даже подписалась на заем, как тогда делалось при зачислении. Получила месячный отпуск для устройства личных дел. Иосиф горячо одобрил план переезда, но, когда кончился месячный срок, я поняла, что уехать из Свердловска не могу, так как это может окончательно подорвать силы у мужа. Позвонила в Челябинск, просила дать еще месячный срок. Согласились и на это. Но дело Иосифа все тянулось и тянулось, и мне пришлось отказаться от мысли о переезде в Челябинск.

* *
*

Мне никак не удавалось получить свидание с Иосифом. Но вот, в начале 1936 года сообщают, что в воскресенье такого-то числа я могу получить свидание. А у меня на это же воскресенье вызов на бюро райкома партии в связи с так называемой повторной проверкой партдокументов (партийная чистка имела место в 1933 году). Я вынуждена отказаться от долгожданного свидания, но мне говорят: «Не беспокойтесь, на бюро райкома успеете пойти, это мы вам гарантируем, на свидание приходите обязательно».

Свидание в кабинете следователя. Не помню ничего, кроме страшной бледности Иосифа и моей бесконечной жалости и нежности к нему.

А для работников НКВД это была проверка моего поведения с заключенным перед решением бюро райкома.

На бюро уже разговор был короткий. Коссов — первый секретарь райкома:

— Вы летом видели меня каждый день на даче в столовой, что же вы не рассказали мне о контрреволюционной деятельности Когана?

Я:

— Я и сама ничего не знала и не знаю о такой деятельности Когана.

Коссов:

— Так что же, по-вашему, сажают за революцию или за контрреволюцию?

Я:

— Вообще-то сажают за контрреволюцию, но за что посадили на этот раз, не знаю.

— Ах так? Все!

Прихлопнул мой партбилет рукой: можете идти!

Свету не взвидела. Не знаю, как дошла до дверей.

Забегая вперед, скажу, что этот Коссов, бывший тульский рабочий-подпольщик, через год с лишним так

же, как и многие другие, был арестован, а его жена Шура мыкалась вместе со мною в лагере для жен, и я ее без всякой злобы поддразнивала: «За что сажают — за революцию или за контрреволюцию?»

* *
*

Я еще не рассказала, как отнеслись наши друзья и знакомые к аресту мужа. Конечно, большинство из них, встречая меня, перебегали улицу: не раскланяться — нехорошо, а раскланяешься — потом спать не будешь, вдруг кто-нибудь заметил. Но были и такие, что дорогу отнюдь не перебегали, а шли прямо навстречу и смотрели колючими глазами: «Вижу, отлично вижу тебя, но руки врагу не подаю». Этих я, признаться, больше всех уважала, хоть и больно было несказанно. Кажется, и я в этих случаях глаза не опускала, глядела в упор. И при этом постоянно вспоминала слова Толстого о том, что жизнь была бы невыносима, если бы каждый человек не находил нечто достойное и заслуживающее уважения именно в его положении, каким бы несчастным, горьким, а в иных случаях и порочным оно ни казалось со стороны (помните, когда Катюшу Маслову выводят из тюрьмы?).

Были и такие знакомые, которые воровато кланялись, так, чтобы это было и заметно и незаметно одновременно.

Но были и добрые друзья, которые приходили ко мне домой, предлагали свою помощь. И должна сказать, что вела я себя в этих случаях, как сектантка, как настоящая «боярыня Морозова». В короткий срок я всех отвадила, объявляя им, что они проявляют либерализм, ничем не оправданный, что никаких доказательств невиновности Когана у них нет, а посему ходить ко мне они не должны.

Мне надо написать еще так много и в первую очередь хочется рассказать о моих детях. Феликс остался

без отца в 5 лет 4 месяца, Шурик в 2 года. Когда я привезла их домой из Гайсина, Феликсу было уже около 6 лет, а Шурику 2,5 года. Сначала я водила их в разные дошкольные учреждения, но вскоре их удалось соединить в одном. Шурик был очень хорош собою, добр, приветлив, умен. Феликс был внешне неприметен, и только самые близкие понимали, что в этом худеньком мальчике скрываются большие силы и способности.

И Феликса, и Шурика очень любили все соседи. Особенно разительной была история с фотографиями мальчишек. У меня при аресте все фотографии забрали, и если все же сейчас можно найти большое количество детских фотографий в моем альбоме, то спасибо за это надо сказать соседям. Уже в 1947 году, то есть через много лет после исчезновения из Свердловска, я проездом в Серов по командировочным делам остановилась на несколько часов в родном мне городе и помчалась на старую квартиру. Зашла в первую очередь к Заливиным. На пороге встретила меня мать. Наскоро поцеловала и убежала в комнату, стала дергать верхний ящик комода. А он никак не поддается. Я даже обиделась: что ей так срочно нужен комод, что даже как следует не поздоровалась со мною после стольких лет разлуки? Но комод она открыла и тут же подала мне большую пачку любительских фотографий, сделанных когда-то ее сынишкой. Больше десяти лет она бережно хранила фотографии моих детей, так, как будто со дня на день ждала нашего возвращения!

Не менее разительным было другое: еще примерно через 10 лет Шурик тоже заезжал в этот дом, и оказалось, что его еще там помнили, а у одной из малознакомых соседок (Смирновой) оказалась еще одна фотография (моя и Феликса годовалого), склеенная из кусочков, найденных во дворе после моего ареста. А ведь в каком году это делалось? В 1937-м! За это могли и поплатиться! Преданность Заливиных нашей семье мне была известна уже тогда, но Смирнова?!

* *
*

Победствовав на разных случайных работах, я в феврале 1936 года поехала в Москву и, вопреки ожиданиям, очень легко получила в наркомате направление на Уралмаш. Забрала малышей из Гайсина и поторопилась в Свердловск: на 28 февраля был назначен суд над Иосифом (и Гребеневым). Суд считался гласным, но нас, членов семьи, в зал заседаний не пустили, а оставили сидеть в коридоре. Кое-что мы все же сумели услышать и понять.

Во-первых — свидетель: мимо нас провели под конвоем заключенного Горохова, работавшего ранее где-то в облисполкоме. На вопросы о том, пытался ли Коган сеять панику, возбуждать общественное мнение против линии партии в связи с трудностями в деревне, Горохов самым категорическим образом утверждал, что Коган, возвращаясь из командировок по хлебозаготовкам, посевным кампаниям и т. д., неизбежно выдвигал перед руководством области деловые и разумные предложения, планы мероприятий, ничего общего не имеющие с паникой, что какие-то сведения, данные им о Когане, искажены, извращены. Его речи были горячей защитой Когана, но никак не обвинительными. В результате, когда нас, членов семей, к концу разбирательства впустили в зал заседаний, мы с великой радостью услыхали следующий приговор: «За отсутствием материала для обвинения дело передать на перерасследование в НКВД. Членам семей подсудимых дать возможность принять обвиняемых на поруки».

Нам тут же разъяснили, что по вопросу о взятии на поруки мы можем обратиться завтра в НКВД.

Рано утром мы с Надей Заостровской (женой Гребенева) уже в бюро пропусков НКВД. У каждой в чемоданчике костюм, свежее белье для мужа. Звоню следователю и слышу в ответ грозное: «Не спекулируйте решением советского суда, о выдаче на поруки и речи

быть не может, мы сами обжалуем решение суда» и т. д.

Звонит Надя. Ответ тот же. 9 июня 1936 года новый суд. Мы, жены, за стеклянной перегородкой. Если не все слышно, то, во всяком случае, видно. Горохова, конечно, уже нет, но зато появился новый «свидетель обвинения». Страхов — преподаватель физической химии. Как бывшего преподавателя в институте стали, знала его довольно близко: знания весьма туманные, терялся от каждого вопроса, выходившего за рамки подготовленной им лекции. Такой талантливый студент, как Мырцымов, постоянно «клал его на лопатки», ловя на неправильном выводе математических формул, фактических ошибках и т. д. В конце концов он был заменен другим преподавателем задолго до окончания курса физхимии, чему мы были очень рады, хотя Страхов умел всячески славословить и угождать студентам. Оказалось, что после нашего института он все же был принят на работу в горный институт, где Гребенев руководил кафедрой философии, а Иосиф некоторое время преподавал политэкономию. И вот сей Страхов пришел на суд засвидетельствовать, что Гребенев и Коган допускали в своей работе извращения, идущие вразрез с линией партии! Тянул он еще что-то, тянул, а Коган как гаркнет: «Что вы его слушаете, это же свидетель из Лейпцига!» («Свидетель из Лейпцига» стало нарицательным именем всякого лжесвидетельства после процесса Димитрова.) И конечно, Коган тут получил грозное предупреждение от председателя суда.

Но самое главное впереди: у прокурора в руках появился тот самый блокнот Иосифа, который (единственный) был изъят при обыске. И что же в блокноте? Записи, относящиеся к докладу Рыкова, приезжавшего в Свердловск. Я хорошо помнила эти записи, так как по ним Иосиф мне рассказывал о содержании доклада. Вот те из них, которые послужили поводом для обвинения Когана в приверженности к правым уклонистам: 1) Рыков рассказал, что Ворошилов считает идеологическое

состояние крестьянской части армии неудовлетворительным; 2) «пужает» кулацким восстанием. «Пужает» относится к Рыкову, и казалось бы, что уже одно это слово, взятое в кавычки самим Коганом, является доказательством того, что он не сочувствовал Рыкову, а критиковал его. Но не так рассудил прокурор.

Коган не просто защищал себя, а со всей страстью старого пропагандиста, агитатора разоблачал глупость и бездарность следствия, обвинения. Надя меня подтолкнула: «Смотри, смотри, у него уже вся спина мокрая, зачем так горячиться?», на что я огрызнулась — лучше быть с мокрой спиной, чем политической мокрой курицей (таким на суде выглядел Гребенев). И что же? Приговор: Гребенева освободить. Когану — 7 лет заключения. Эти 7 лет можно было объяснить только дерзким, непокорным поведением на суде (а может быть, и на предварительном следствии, но сие мне не известно).

Я тут же помчалась к начальнику тюрьмы узнать, будет ли мне дана возможность поселиться вместе с детьми там, где будет отбывать срок наказания Коган. Но начальник тюрьмы отечески велел не торопиться с такими вопросами, вероятно, Коган еще подаст апелляцию, и неизвестно, что будет впереди.

Да, он подал апелляцию. В ожидании решения Верховного суда получил в тюрьме какую-то работу и единственное личное свидание с семьей без двойных решеток и без следователя, хотя и в присутствии дежурного.

* *
*

Наши свидания... Когда они давались в тюрьме, между мною и Иосифом стояли две проволочные решетки на расстоянии примерно метра одна от другой. Дежурный расхаживал между решетками, но помеха не в нем. Редко, редко удавалось услышать друг друга из-за того, что одновременно «встречались» до двадцати пар, стоял

сплошной рев, крик, плач детей. Но видели глаза: ласковые, растерянные, рвущиеся к тебе, спрашивающие... О, как много говорили глаза из-за двойной решетки!

В НКВД нам давали свидания в кабинете следователя. Вероятно, Иосиф, идя на свидание, понимал, так же как и я, что идет на очную ставку, но на самом свидании мы совершенно забывали об этом и просто радовались встрече.

Предпоследнее свидание происходило в декабре 1936 года. Иосиф уговаривал меня носить поменьше пищи: «Ты еще чужих контрреволюционеров кормишь», на что я ответила: «У меня, по-моему, своих контрреволюционеров нет». Он: «Как сказать», а сам смеется.

Последнее свидание готовилось следователем задолго. Ко мне домой пришел молодой человек. Поздоровался по-немецки, спрашивает: «Шпрехен зи дойч?» Отвечаю: «Я вас не понимаю». Он заговорщически кивает на дверь, на стены. Говорю резко: «Что вам надо, говорите по-русски или уходите». И тут он на чистейшем русском языке начинает рассказывать, что сидел с Коганом в одной камере, Коган очень болен, у него высокая температура, головные боли, бред. Особенно напирает на бред, ведь Коган может наговорить ужасные вещи, и это его погубит.

Я прерываю его излияния:

— Если у Когана бред, тем лучше, как раз и выяснится, что ему нечего скрывать, может быть, хоть таким образом скорее завершится следствие.— И показала ему на дверь. Он еще что-то долго лопотал о чувстве дружбы к Когану и желании ему помочь, но отвечать ему я перестала.

Дальше — телефонный звонок: «Хочу передать привет от Когана». Бросаю трубку — раз, другой, пятый... Книжки, возвращенные Иосифом из тюрьмы, мне предлагают получить на квартире дежурного по тюрьме. Не иду. Звонят на работу: немедленно явитесь в кабинет капитана Ревинова по срочному делу, пропуск уже за-

казан. Понимая, что этим звонком меня хотят напугать, и не желая «пугаться», я, доехав до площади 1905 года, не иду прямо в НКВД, а захожу в гастроном, покупаю самые дорогие яства, которые мне тогда были совсем не по карману, иду к Ревинову и сразу же говорю ему, что решила воспользоваться его вызовом и сделать передачу Когану. Он взвился:

— Что за шутки, вас вызывают по серьезнейшему делу, а вы занимаетесь ерундой!

— В чем же дело?

Ревинов грозно:

— Как вы смотрите на то, что Коган, сидя в камере с немецким шпионом, рассказывал ему о секретнейшем партийном документе — завещании Ленина?

Я:

— Конечно, рассказывать об этом документе человеку, о котором заведомо знаешь, что он немецкий шпион,— преступление. Но я думаю, что такого рассказа и не могло быть, что и шпион не шпион, может быть, это как раз тот молодой человек, который ко мне на днях приходил?

И тут я начинаю ему рассказывать о «заграничном» посетителе, но он сердито обрывает меня: «Вы свободны». Продукты, конечно, не принял, но вскоре мне удалась передача в тюрьме. В уголке сопроводительной записала: «Чем ты болен?»— и получила ответ: «Здоров как бык».

Я добиваюсь свидания. Мне все отказывают на том основании, что Коган тяжело болен. Наконец в начале февраля 1937 года мне назначают свидание в НКВД, у следователя, и даже разрешают привести с собою детей. Назначили на 9 часов вечера. Являюсь, конечно, без опоздания. На мой звонок из комендатуры отвечают: «Ждите, пошлем за Коганом в тюрьму». Ждем час, другой — ответ все тот же. Часов в 12 ночи мне отвечают, что привезти Когана нельзя, у него высокая температура. Заявляю, что я с детьми не уйду, пока не бу-

дет дано свидание. И настояла: в 1 час ночи нас повели в кабинет следователя, где уже сидел Иосиф — живой и здоровый, а следователь не счел даже нужным как-то объяснить версию о болезни.

Во время разговора с Иосифом я сказала: «То, что ты мне говорил в прошлый раз о контрреволюционерах, я, конечно, всерьез не принимаю, я этому не верю».

И вот, когда свидание кончилось и мы все вышли в приемную, где я стала одевать ребят, Ревинов велел секретарю задержать Когана, а меня препроводить в его кабинет.

Ревинов: «К вам вопрос. Что это вы сказали Когану, что не верите ему?»

Я сразу же напомнила, что Коган на прошлом свидании пошутил о контрреволюционерах, а я действительно не верю, что он является таковым.

— Ну все, вы свободны.

Я тогда не придавала никакого значения этому инциденту, но позднее, когда мне стали известны тогдашние методы следствия, как добивались хоть строчки от близких заключенному людей, хоть отдаленнейшего намека на предательство, чтобы нанести жертве моральную травму,— когда я узнала все это, я поняла, сколькими неприятностями для Когана мог быть чреват мимолетный вызов к следователю: ведь при случае Ревинов мог намекнуть Когану, что его жена работает заодно со следователем.

Так кончилось наше последнее свидание.

* *
*

Я еще не раз буду возвращаться к воспоминаниям о муже, но сейчас я все же расскажу то, что мне известно о его судьбе после второго суда.

Помните, его осудили на 7 лет и он подал апелляцию? В начале августа я получила телеграмму из Моск-

вы от сестры Иосифа Стаси, что Верховный суд снизил срок до трех лет. Бегу с этой телеграммой в тюрьму к Иосифу, но, оказывается, его в тюрьме уже нет, он снова переведен в НКВД.

12 августа мы вместе с сестрой Иосифа Ревеккой, специально приехавшей из Челябинска, получаем свидание у следователя. Он с любезной улыбкой сообщает нам, что решение Верховного суда не имеет силы, так же как и решение областного суда.

В дальнейшем, при очередных передачах, встречаю в НКВД жену Гребенева — он снова арестован, и жену Медникова — председателя Уралплана, члена партии с дореволюционным стажем, делегата VI съезда партии (июль 1917 года). Узнаю также, что арестован Колегаев (помните, в кино «6 июля»: это тот самый левый эсер, бывший наркомзем, который пришел к Ленину с покаянием и заявил о выходе из партии левых эсеров?). Вот этот самый Колегаев был начальником Уралцветмета и по работе был связан с Уралпланом.

Новые заключенные, новое следствие, и все это происходит на фоне судебного процесса над Зиновьевым, Каменевым и другими.

А в январе 1937 года начинается процесс над Пятаковым и другими хозяйственниками (в это время и покончил с собой Орджоникидзе). В «Правде» публикуются показания Пятакова, и там черным по белому написано: «На Урале была создана группа Медникова и Колегаева». Больше ничего, но и этого вполне достаточно было...

Я еще тогда ничего не знала о том, какими методами добивались иных показаний, что применялись гипноз, шантаж, пытки, против которых не всегда удавалось устоять даже очень сильным людям.

Иосиф был связан по работе с Колегаевым и с Медниковым, а с последним поддерживал и дружеские связи...

Все, что я тогда делала, все, о чем думала, что происходило вокруг,— все окрашивалось в один цвет, все

приобретало одно значение, все сплеталось в один тугой узел — «группа Медникова и Колегаева на Урале».

В первой половине апреля 1937 года я получила открытку от Иосифа (совершенно неожиданно, впервые по почте). Он писал: «Вот мне уже скоро 40 лет, но считай, что мне дважды по 20». Дальше писал, что надеется последующие дни рождения встретить вместе с другом, с которым так хорошо было читать в далеком прошлом труды Павлова и Маркса и совсем недавно вместе же всплакнуть на просмотре «Чапаева».

О чем же еще можно было писать в открытке? Я ей, конечно, очень обрадовалась, тем более что никаких свиданий нам не давали и я даже не была уверена в том, что до него доходят передачи. Но даже и эта открытка показалась мне не вполне естественной... Все та же призма: «группа на Урале».

Я больше не могла молчать, делать вид, что я ничего не знаю, ничего не замечаю вокруг, я сознавала свой партийный долг и не могла быть в положении чеховской Душечки, которая заранее все оправдывает.

И в первую очередь мне надо было сказать самому Иосифу о том, что я думаю и что чувствую. И я ему ответила открыткой.

«Я верю, что ты такой, каким я тебя знала долгие годы, что ты честный коммунист, но если ты все же сознательно чем-нибудь шкодил, то знай, что я прокляну тебя, а когда наши дети вырастут, они присоединят свои проклятия».

Хорошо запомнила, что обратный адрес я написала на имя Швед-Коган Софьи Ароновны. Так назвала я себя тогда, кажется, впервые, и сделала я это для того, чтобы и себя и Иосифа убедить в том, что я в него верю,— верю, несмотря ни на что! Я надеялась, что Иосиф поймет меня, ну а если он виновен, то чем больнее будет ему, тем лучше.

Так думала я тогда, когда — повторяю — еще ничего не знала об ужасных методах следствия и ложных показаниях, самооговорах.

* *
*

Моя открытка оказалась последним посланием в Свердловскую тюрьму. Тем тяжелее она могла подействовать на мужа и тем тяжелее о ней вспоминать.

23 апреля очередную передачу не приняли, а 3 мая (передачи принимались через 10 дней) мне сообщили, что Коган осужден на 10 лет и отправлен по месту назначения. Аналогичные ответы в этот день получили десятки жен. Некоторым сообщили, что муж приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение.

Просочились и записки, письма, в них осужденные делали сообщения примерно такого характера: «Меня вызвали, объявили, что я террорист, изменник Родины, дали срок...» (10 или 15 лет, позднее стали давать 25 лет.—*Авт.*).

Больше я от Иосифа ничего не получала. Очевидно, его письма ко мне считали нужным задерживать, но Рива, моя сестра, написала мне из роддома (родила Валерия 14 августа 1937 года): «Пиши Вологда п/я № 6: о тебе очень беспокоятся».

И как я тогда рада была, что за несколько дней до собственного ареста успела все же отправить не только письмо, но и 50 рублей.

В 1942 году, как только я освободилась, пошла на почту и отправила два «разведывательных» перевода в Воркуталаг и в Колымлаг, но оба перевода пришли обратно, хотя много позднее я узнала, что Иосиф как раз содержался в Воркуталаге.

На многочисленные запросы получала стандартные ответы: «Содержится в особорежимных лагерях без

права переписки». И только в 1947 году в Челябинске получила радостную весть: жив, работает, срок кончается 10 сентября 1947 года.

Тогда кое-кого успели освободить (был такой короткий период, и я тоже ждала чуда). Но прошли все сроки, а с ними и надежды.

Началась новая волна репрессий. После смерти Сталина в ответ на мои многочисленные запросы и заявления в различные инстанции я долгое время получала лишь сообщения о пересмотре дела, о реабилитации, о том, что Коган ранее содержался в Воркуталаге, но ничего не сообщалось о его дальнейшей судьбе — «местопребывание не известно». Наконец летом 1956 года меня вызвали в Алексинское управление КГБ и объявили устно, что Коган умер в феврале 1943 года от инфаркта миокарда. Смерть зарегистрирована 22 мая 1956 года(!), то есть зарегистрирована специально для того, чтобы придать гнусный вид «законности» всему сообщению.

Умер ли действительно в 1943 году, жив ли был в 1947 году, как это явствовало из официальной справки того времени? Сопоставьте все и поймете всю меру ужаса и произвола! Ведь люди жили в лагерях без фамилий, за номерами. И «номер» могли потерять, убить, для того чтобы воспользоваться его жалким пайком, или, наоборот, считать живущим, когда его уже не было в живых, для этой же цели. А может быть, он еще жив был, когда его смерть была уже зарегистрирована, но был он в таком состоянии, что не способен был восстановить свое имя и связаться с родными.

Все может быть, все может быть!

Те, кто был в положении Когана, не сражались в боях Отечественной, но они были сражены. Они не знали ужасов войны, но не знали и радостей побед. Их растоптали.

Над их могилами не горит вечный огонь, их мученическую смерть не считали даже нужным своевременно отметить в простом загсовом гроссбухе.

Пусть вечно горит огонь сочувствия к ним в наших сердцах! Там, где они погибли, все заросло травой. Никто и ничто в тех местах не расскажет нам о людях с горячей кровью большевиков, заживо похороненных, обреченных на гибель своими же братьями — своими каинами.

Вечная слава, вечная память бойцам, погибшим на фронтах за свою Родину!

Вечная память невинно погибшим в лагерях и тюрьмах своей Родины!

* *
*

Нет, я не могу еще на этом расстаться со своими воспоминаниями об Иосифе. Надо еще рассказывать и рассказывать о человеке, чья смерть была зарегистрирована в Вологодском загсе 22 мая 1956 года.

Основное призвание Когана, по-моему, агитатор, пропагандист, хотя он с успехом вел и плановую работу, а незадолго до своего ареста он мне говорил, что пора ему с плановой работы переходить на непосредственно хозяйственную. «Одно дело других поучать, как и что делать, а другое — самому быть организатором народного хозяйства». И не сомневаюсь, что если бы не арест, он свое желание выполнил бы. Слова на ветер он не бросал. Но от преподавательской, пропагандистской работы полностью отказаться он, вероятно, не смог бы. Он любил эту работу, и она любила его. Еще в Серпухове фабричные организации, делая заявки на лектора, докладчика, обычно просили прислать Когана. А когда на семинарах коллеги спрашивали его, в чем секрет успеха преподавательской работы, он неизменно отвечал: «Не пытайся убеждать другого в том, в чем ты сам не убежден и не уверен до конца. Откажись от мысли быть

педагогом, если для тебя каждое занятие, лекция, доклад не являются маленьким праздником. И само собой разумеется, что нужны еще твердые, всесторонние знания предмета».

Но я думаю, что его успех в работе предопределялся еще и чутьем, добрым контактом в отношениях с любой аудиторией, личным обаянием. Это обаяние оказывало свое влияние даже на угрюмых тюремных служителей: я видела, с какой улыбкой они забирали у меня сумки с передачей для него и «не замечали» наши взаимные записочки к описи посылаемого.

Много помогал Иосифу «веселый чертик» — чувство юмора и любовь к шутке. Но этот же «веселый чертик», вероятно, немало вредил ему. Я уже рассказывала о его дерзком поведении на суде.

Все то время, что он находился в заключении в Свердловске, он очень много учился, читал, строго придерживаясь определенного плана и установленного им режима дня. И в тюрьме он не забывал свой девиз: «Не засоряй свою голову пустяками».

Иосиф очень любил детей, любил повозиться с ними, рассказать сказку. Любил он и петь детям, и петь вместе с ними. И вообще до песен был большой охотник. Из любой поездки привозил новые для нас народные песни, частушки. После каждого посещения театра — новые арии...

Вот такой он был человек. И никто никогда не узнает, какие муки были ему еще уготованы после апреля 1937 года.

* *
*

Из того, что я писала о начале массовых арестов до 1937 года, могут сделать вывод, что тридцать седьмой год отличается лишь количеством арестованных. Это будет совершенно неверно. Тридцать седьмой — это новое качество. Если в предыдущие годы людей так

или иначе допрашивали, судили, суд в какой-то степени проявлял независимость, то в тридцать седьмом году любому человеку можно было навесить ярлык «враг народа», «изменник родины», «террорист», а Особое совещание, заменившее тогда суд, выносило приговоры заочно, по наветам. Не большую законность проявляли и трибуналы, осуждавшие, как правило, на смерть.

Вы помните, каким неожиданным был для нас арест Иосифа в 1935 году, но в тридцать седьмом этого ожидали почти все — по крайней мере все интеллигенты, все партийные, хозяйственные, военные работники (прочитайте у Кренкеля в одном из номеров «Нового мира» за 1970 год, как он и его жена испугались, когда к ним постучал товарищ после полуночи, как Кренкель выговаривал ему за такую неосмотрительность).

Тридцать седьмой год — это всеобщее недоверие друг к другу.

Тридцать седьмой год — это гигантский спрос на клевету и «разоблачения». И спрос рождал предложение! Некоторые «разоблачали» из искренних побуждений, поддавшись общей мании искания врагов, другие клеветали без зазрения совести из желания выслужиться, освободить для себя хорошую должность или просто насолить соседу.

Тридцать седьмой год — это полное беззаконие в методах следствия, вымогательство ложных показаний и саморазоблачений.

Тридцать седьмой год — это фальсификация судебных процессов.

Тридцать седьмой год — это буквально «охота за ведьмами». Ни с чем его не сравнишь. Если верить тем обвинениям, которые тогда фабриковались, то все руководство партии, начиная с председателя Коминтерна (Зиновьева) и кончая любым секретарем обкома партии, было завербовано в первые годы Советской власти иностранными разведками и все годы Советской власти вело подрывную, шпионскую работу.

Конечно, в период XX съезда партии и непосредственно после него нельзя было ожидать оправдания всех невинно казненных. Такова особенность «революции сверху», что она не может выступать с открытым забралом, вынуждена медленно продвигаться вперед, пока народ «привыкнет» к новым веяниям, к новым оценкам и практической линии. И та работа, которая была проделана в пятидесятые годы, заслуживает огромной благодарности. История ее не забудет. Уже одно то, что было издано более полное собрание сочинений Ленина, в которое вошли многие документы, державшиеся Сталиным в секрете, что была переиздана книжка Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», было смелым шагом, за который нельзя не благодарить Хрущева (напомню, что книжка Джона Рида — единственное в своем роде свидетельство событий Октября 1917 года, написанное по свежим следам, что Ленин в своем предисловии к этой книжке писал о правдивости ее и выражал пожелание, чтобы она была издана на всех языках мира, а Сталин держал ее долгие годы под запретом).

В шестидесятые годы не только не было дальнейшего продвижения по пути восстановления исторической истины, но сделан шаг назад.

Позднее я несколько подробнее расскажу о методах суда и следствия, которые применялись в тридцать седьмом году. Летом этого года до моего ареста я ничего о них не знала. И мне тогда казалось, как и многим, многим другим, что не может быть «дыма без огня». Очевидно, все-таки какие-то крупные преступления обнаружены, пусть далеко не все виноваты, но не всех же зря казнят. Особенно убедительными казались некоторые процессы с «саморазоблачением», «раскаянием» и т. д. О «недозволенных методах» мы ведь еще ничего не знали!

Да, тридцать седьмой год — это особое качество...

Но нельзя не видеть, что широко задуманная физическая расправа была подготовлена длительной рабо-

той по моральному растлению партии и народа. И поистине смешны и нелепы исторические работы, берущие под защиту все, что происходило до 1937 года, объявляющие любое высказывание о бюрократизации партии и советского государства, о нарушении внутрипартийной демократии и т. д. «вражескими измышлениями», «клеветой». Как легко писать историю по готовому трафарету! Небольшой реверанс в сторону XX съезда партии, оговорка относительно вредного влияния культа личности — вот все, на что оказались способными многие современные историки.

* *
*

Когда я получила в Москве направление на Уралмаш, мне не удалось устроиться по специальности. На Уралмаше, как и на всех других предприятиях, в 1936 году развертывалась колоссальная работа по технической учебе (стахановские курсы, техминимум, курсы мастеров). Нужны были методисты и организаторы по этой работе. Вот мне и заявили в отделе кадров, что работу могут предоставить только по линии техучебы. Может быть, если бы я обратилась непосредственно в ЦЗЛ, нашелся бы смелый человек, который потребовал бы моего направления в лабораторию, где я успешно работала в 1934—1935 годах, но в моем положении я считала невозможным втравливать кого-либо в свои личные дела. Пришлось согласиться на должность методиста по техучебе. Засела за составление программ по самым различным специальностям: от ухода за газогенератором до заточки резцов. Сама я взяла на себя преподавание в группе монтеров. Должна сказать, что со временем втянулась в работу и она казалась мне уже интересней.

Но вот наступает лето 1937 года. Очевидно, кто-то дал указание о моем увольнении, и мне предлагают не-

медленно взять месячный отпуск. Через месяц говорят, что отпуск продлен еще на месяц. На мой прямой вопрос, значит ли это увольнение, отвечают: нет, пока нет, но если вы сами этого пожелаете, возражений не будет.

Ищу работу. Где только не перебывала! Обещали с 1 сентября работу в школе глухонемых, но и тут отказ. Вот уже наступило 1 сентября.

Отлично помню весь этот день. Домой идти я не хотела: пусть соседи не видят, как я мечусь без работы.

Иду в лес... Сижу и думаю... Приходит успокоительная мысль: поеду в Одессу к своему старому учителю и большому другу — Фортунату Викторовичу Каминскому. В 1929 году он приехал к нам в Серпухов вместе с женой погостить и познакомиться с интересным пролетарским центром. У него и у его «старушки» своих детей нет, тем сильнее они умеют любить чужих детей. К родственникам не поедешь, а к ним можно, люди они бесстрашные: недаром в молодости, к 33 годам, наш Ф. В. уже имел за своей спиной 11 лет каторги и ссылки. Может быть, и работу какую-нибудь они для меня подыщут в своем собственном научном и литературном «хозяйстве». Вот так я себя утешала и не думала, что ближайшая ночь сама кардинально «разрешит» все мои трудности.

А ночью пришли и предъявили ордер на обыск (мужчина и женщина). Всю ночь рылись в книгах (их еще оставалось порядочно). Я была спокойна: ведь ордер только на обыск. И лишь под утро мне говорят: «Теперь одевайте детей и сами собирайтесь».

— Зачем, ведь у вас ордер не на арест?— Вынимают другую бумажку: «Арестовать и изъять детей» (!).

Я уже говорила, что в тридцать седьмом году удивить чем-либо трудно было. Бужу своего старшего сыночка: «Нам придется на время расстаться. Вы с Шуриком поживете в детском садике до моего возвращения». Феликс начинает быстро одеваться: «Мама, коньки взять?» Он мечтал о коньках, вероятно, все лето, так

как я купила их уже к самому концу прошлой зимы.

Бужу Шурочку, одеваю, но, когда дошла до чулочек, не выдержала, упала головой на его коленко, милое мое коленко, и зарыдала. Кое-как справилась с собою, а Шурик, уже одетый, стоит среди комнаты:

— Мама, ты скоро вернешься?

— Да, сынок, помнишь, как в прошлом году ты был на даче.

— Так до-ол-го!— весь покраснел, глазки налились слезами, но сдержался, не заплакал. (На даче-то он был всего три недели, а сейчас расставались мы с ним на 6 лет с лишним!)

Поехали вместе. На улице Гоголя машину остановили и ребят повели в детский приемник. Я попросила, чтобы мне дали поглядеть, где будут жить ребята. И мне разрешили.

Я вошла в приемник, меня повели в детскую спальню, и тут я сразу поняла, что начались массовые аресты жен, как таковых. В огромной спальне стояли впритык друг к дружке детские кроватки. Малыши спали, но ребята постарше, очевидно, спать не могли. Когда я вошла, поднялось множество детских головок и из угла раздался голосок: «Тетя Соня, и вас забрали?» Это был Юра Гребенев, лет восьми.

— И Светочка с тобою?

— Да, она вот спит рядом, а маму забрали вчера, и тут все дети, у кого забрали мам.

Прошу, чтобы мне показали уборную, в которую ходят ребята. Грязь по колено. Я, забыв о своем положении, взрываюсь: «Вот кого надо сажать в тюрьму — людей, которые смеют держать детей в такой антисанитарии!»

Как это ни странно, я ничего больше не запомнила из того, что видела и слышала в этом приемнике, даже прощание с детьми совершенно забыто.

Хочу рассказать все, что мне стало известно о приемниках этого типа в дальнейшем.

Мои сыновья смутно помнят, что было на улице Гоголя, но от других ребят мне стало известно, что их не выпускали за ворота. Дети постарше, конечно, искали возможности связаться с родственниками. И вот они догадались действовать таким способом: писали письма, заворачивали их в записки с просьбой отправить письмо по нужному адресу, бросали через забор все послание, привязанное к камушку, и... представьте, что некоторые письма доходили по адресу. Ведь и в те тяжелые времена находились люди, которые способны были рисковать своим благополучием ради других. К тому же многие, вероятно, знали, какой печальный дом находится на улице Гоголя, и старались помочь детям.

* *
*

Меня привезли в тюрьму. Собственно, это даже не тюрьма, а школа на улице Декабристов, недалеко от обсерватории. В настоящей тюрьме, несмотря на страшное «уплотнение» обитателей ее, мест уже нет. Пришлось наспех открыть филиалы. И вот мы — жены осужденных мужей — заняли такой филиал: высокий забор из горбылей, несколько рядов колючей проволоки над ним, сторожевые вышки по углам забора; наглухо забитые горбылями же окна классов, из которых вынесена вся мебель, и — тюрьма готова.

В классе, который стал моей первой камерой, на голом полу вповалку лежали или сидели уже около тридцати женщин. Устроилась недалеко от двери, и начинаем знакомиться.

Тут жена первого секретаря горкома партии Кузнецова — Аня Ивановская, бывшая студентка бывшего института марксизма-ленинизма; Седашева — экономист, жена начальника Востокостали; тут Лекомцева Анна Васильевна, ставившая вместо подписи крест, довольно опустившаяся старушка,— жена кочегара с КВЖД

(все, кто работал на Китайско-Восточной железной дороге, были репрессированы, как и подавляющее большинство ездивших в заграничные командировки или просто хорошо знавших иностранные языки).

Я сразу попала в центр внимания, так как мне все-таки посчастливилось побывать в детском приемнике (об уборной я, конечно, рассказывать матерям не стала).

В следующую ночь продолжали привозить женщин. Но особенно запомнилась ночь на 4 сентября, когда в нашу камеру затолкали Владимирову, жену директора Уралмаша. Только несколько дней назад она вернулась из Москвы, где Калинин ей, как активной участнице движения жен за культуру производства, торжественно вручил орден Ленина, а сегодня ночью арестовали сразу всю семью: Леонида Сергеевича Владимирова, ее, Женю, и двух дочерей (старшей уже было лет 15). Владимиров — крупный хозяйственник, герой гражданской войны. Это о нем весной 1937 года в одной из передовиц «Правда» писала, что некоторые партийные организации потеряли чувство меры в критике и даже такой прославленный директор, как Владимиров, подвергается нападкам.

И вот Женя Владимирова с нами. Взволнованно рассказывает о дочерях, о том, как она вместе с Леней росла в Одессе на Пересыпи, как вместе воевали в гражданскую войну и там же поженились. Ее, Женю, очень легко было представить «Анкой-пулеметчицей», ставшей высокообразованной, культурной и обаятельной женщиной.

Через несколько дней Женю вызвали к следователю. Вернулась веселая: следователь заверил, что девочки хорошо устроены, старшая продолжает заниматься музыкой и т. д. Забегая вперед, расскажу то, что знаю о Владимировой уже со слов других.

Когда нас отправили в Нарым, Владимирова осталась в Свердловской тюрьме. Ей сочинили «личное дело», если верить которому, она, шефствуя над рабочими сто-

ловыми, подсыпала в пищу толченое стекло. Вот такие гурманы тогда ходили по земле, вот какие пикантные блюда тогда умели стряпать!

Женя в той же тюрьме, где, по ее расчетам, находится Владимиров. Каким-то образом ей удалось устроить наблюдательный пункт через щель, образуемую «корытом» (деревянное ограждение на окне) и окном. Для этого ей приходилось забираться высоко, под самый потолок: чего не сделаешь ради того, чтобы увидеть мужа среди «гуляющих» заключенных. Но в один злосчастный день Женя увидела среди заключенных женщин свою старшую девочку. Так вот они — «занятия музыкой»! Женя теряет сознание и падает с высоты. Ее уносят в больницу с тяжелым сотрясением мозга. Больше о ней и о ее семье мне ничего не известно.

* *
*

Большинство жен пришли в тюрьму легко одетыми, без всяких запасных вещей и постели; пища отвратительная, но не это было, конечно, нашей заботой: дети, дети, что будет с детьми?! Ведь мы полностью отрезаны от мира, нам не разрешают писать письма, вызывать родных.

Мне повезло: соседи сразу поехали в Челябинск, нашли моих родственников (я уже тогда завела такую традицию: оставлять запасные ключи и адреса родных у соседей; продолжаю ее по сей день) и сообщили им о моем аресте и исчезновении детей (они предполагали, что дети находятся со мною в тюрьме).

Приезжает сестра Иосифа Соня, ей удается передать мне саквояж, наполненный теплыми вещами и пищей, а самое главное — записку, в которой сообщает, что сегодня же вечером увезет Феликса и Шурика к себе в Челябинск. Радость? Погодите, это еще не все. Проходит неделя-другая, опять приезжает Соня и опять

пишет, что, вероятно, сегодня она увезет ребят. Я в полном недоумении, ведь она еще в первый раз собиралась их увезти. Стучу в двери, кричу, ору, рыдаю, требую свидания, чтобы узнать, в чем дело. Но все напрасно.

Уже в 1943 году я узнала, как все было: детей отдавали из детприемника только родственникам матери. Родственникам отца их получать нельзя было, и Соне их обещали выдать «по ошибке», а она поторопилась порадовать меня. Во второй приезд она уже писала осторожно — «вероятно, увезу». Когда она приехала в третий раз, ни меня, ни детей в Свердловске уже не было. Тогда она обратилась в Москву, в НКВД, с просьбой о выдаче ребят. И вот, представьте картину: Соня получает вызов в Челябинское управление НКВД на 10 часов утра такого-то дня. «Вызовы» были сплошь да рядом способом ареста. Не сомневались и Соня с мужем, что именно для ареста ее вызывают в НКВД. Муж Сони, Абраша, идет вслед за нею, несет узелок с постелью, пищей. Вошла... А минут через 15 вернулась, смеется: пришло разрешение забрать Феликса и Шурика, только находятся они уже далеко — в городе Бердске Новосибирской области. Абраша берет отпуск на несколько дней и летит в Новосибирск. В детском доме ему говорят, что там находится один лишь Феликс, а Шурик отправлен куда-то дальше, в Иркутскую область. Абраша торопится и, не повидав даже Феликса, летит дальше, в Иркутск, но и там Шурика тоже нет. Возвращается в Бердск, с тем чтобы забрать хоть одного Феликса, и тут только узнает, что Шурик тоже в Бердске, но отправлен из детдома в больницу (после кори у него тяжелое осложнение на уши). Абраша одевает ребят в привезенные с собою зимние вещи и увозит их в Челябинск, где им пришлось прожить всего несколько месяцев.

6 Зак. 352

* *
*

А я в тюрьме, и сколько ни кричи, ни требуй объяснений — все напрасно.

Вижу вокруг себя страшно позеленевшие лица, понимаю, что и я не лучше выгляжу, и начинаю агитировать всех за «оздоровительную кампанию»: раньше всего давайте утром делать гимнастику в коридоре, куда нас выводят на «оправку». Сама показываю пример: шагаю по коридору (в меру дозволенного) и дышу «свежим» воздухом. Да, таким он мне казался в сравнении с воздухом в камере — классе с забитыми окнами. Но когда нас в первый раз повезли в «черном вороне» (так называли тогда машины для заключенных) в баню и вернулись мы в тот же коридор с улицы, у меня голова закружилась от вони, страшного смрада. После этого и у меня пропала охота заниматься гимнастикой на «свежем воздухе» в коридоре.

Расскажу об одной колоритной личности. У нас както появился новый сменный надзиратель. Глядя на него со своего места на полу снизу вверх, я сначала увидела толстое пузо с широким ремнем, затем бычью шею и затылок в фиолетовых складках, лихо закрученные усы, мясистые щеки и нос картошкой в синих прожилках, заплывшие глазки и лохматые брови. Как видите, мое описание мало отличается от обычного описания царских держиморд. Таким он и был на вид. Даже страшно стало: я еще помнила свой детский трепет перед жандармом, урядником. Этого нам еще не хватало! Ахнула не только я, но и все остальные женщины. Звали его Халдин. Фамилия тоже подходящая.

И бывает же так! Именно этот Халдин оказался нашим ангелом-спасителем. Я уже упоминала, что большинство женщин пришли в тюрьму в одних легких платьях. Так вот, этот Халдин организовал какую-то бригаду, которая доставала из опечатанных квартир одежду

женщинам. Это делалось вполне легально, а нелегально...

Подойдет к какой-нибудь женщине и почти грозно: «Ну, что пригорюнилась, небось вспомнила каких-нибудь родственников неладных?» А та, уже зная его уловки, скажет: «Как не горевать, знала бы мама в Харькове, что ее внук в приемнике в Челябинске, сразу бы приехала за ним» — и тут же невзначай скажет и адрес и фамилию бабушки, а Халдин и не моргнет, только через несколько дней придет и торжественно объявит: «Догадливая у вас матушка: уже приезжала и ребенка забрала». Очевидно, посылал телеграммы, и, конечно, на свои деньги. В ночную смену он сидел на телефонах и тут же, почти не стесняясь, принимал «заявки»: передачи и записки для меня от Сони, конечно, тоже прошли через Халдина. А однажды, когда обрадованная им Седашева закатила истерику, наш Халдин тоже стал платочком вытирать глаза. После его ухода из камеры женщины единодушно решили, что секрет его отчаянно-самоотверженных поступков в том, что он недавно похоронил жену, и если его самого арестуют, то поплакать о нем и посидеть за него в «школе» уже некому будет. Конечно, это была шутка, но так или иначе «товарищ Халдин», как мы его звали, хотя все остальные надзиратели запрещали нам произносить слово «товарищ»,— товарищ Халдин был редким экземпляром даже среди самых порядочных людей.

В конце октября нас стали готовить к этапу — постепенно класс за классом вызывали в канцелярию и сообщали «приговор»: «Осуждена особым совещанием, как член семьи изменника Родины, сроком...» (на 5 или 8 лет.— *Авт.*).

Пошла в канцелярию и я, выслушала стандартный приговор — срок 5 лет.

Когда я возвращалась в камеру со своим пятилетним сроком, мне было как-то не по себе: подавляющее большинство получило 8 лет, за какие же прегрешения мне только 5 лет?

* *
*

Не помню уже, от кого и когда нам стало известно, что нас везут в Нарым. Этап начался с того, что всех перевезли в стационарную тюрьму для тщательного обыска, фотосъемки, снятия отпечатков пальцев и прочей обработки, полагающейся перед этапом.

Размещались мы в коридорах тюрьмы. Иногда нам удавалось заглянуть в камеры (когда приносили пищу или выводили кого-нибудь из камеры), и тут мы поняли, что наша «школа» была настоящим раем по сравнению с тюремными камерами.

Полуголые женщины стояли и сидели на полу (одновременно всем сидеть нельзя было). Жара, духота, видимо, доводили многих до полуобморочного состояния, несмотря на то, что головы были повязаны мокрыми тряпками. Нам рассказывали, что поспать можно было лишь тогда, когда «урок» (уголовниц) выводили на работу. Совместное заключение с урками тоже было несладким. Они действовали по принципу: «Захочу — казню, захочу — помилую». То благосклонно относятся к «контрам», то издевательски захватывают у них последний кусок хлеба. Но об «урках» надо рассказать особо, и, если сумею, сделаю это обязательно.

Вот нас уже погрузили в теплушки, 40 человек в каждую. Нары в два этажа, тут же и «санузел». Едем. В Свердловске мы были строжайше предупреждены, что при проверках на вопрос о статье, по которой осуждена, отвечать надо только так: «Статья 58, пункт 10», что по уголовному кодексу означало «контрреволюционные действия». Мы упорно отказывались возводить на себя напраслину и дружно отвечали: «Жена», чем приводили в бешенство начальника конвоя, который даже применил знаменитую угрозу: «На мыло переварим».

Кормят отвратительной баландой, которую приносят в грязном ведре. Лошадям, конечно, не предложили бы пойло из такой неопрятной посуды. Некоторые едят, но я, к сожалению, среди тех, кто отворачивается, чтобы не стошнило от одного вида этой пищи. Хлеб сваливают прямо на грязный пол. Отдираем корку и едим. Это и была почти единственная еда за все время трехнедельного пути. Воды дают очень мало и тоже в грязных ведрах. «Умываемся», смочив ватку в воде. После того как протрешь ею лицо, она становится совсем черной.

Но... «всюду жизнь»: с нами в теплушку попала одна замечательная, исключительно талантливая женщина — Ида Геннадьевна Соколова-Марцинкевич. Как она рассказывала произведения Толстого, Чехова, Куприна, Цвейга и многих других! Большие романы («Анна Каренина») и маленькие шедевры («Первоцвет» Куприна). Мы готовы были слушать ее день и ночь. Сидела она на нарах совершенно спокойно, вертела в руках какую-нибудь вещицу, говорила, не повышая голоса, не прибегая ни к каким внешним эффектам, но какое-то чудо совершалось на наших глазах — возникали живые люди, яркие краски природы, звуки, запахи. Ни с каким, даже самым интересным, театральным представлением не могу сравнить то, что делала Ида Геннадьевна. А она была всего лишь скромной учительницей в Свердловском педтехникуме.

Еще одно «утешительное обстоятельство» было в теплушке: замечательное пуховое одеяло, которое «бригада» доставила врачу-педиатру. Как только у кого-нибудь из женщин начиналась лихорадка, ее сразу укладывали под знаменитое одеяло. Лежали под ним по двое-трое одновременно, и к чести нашей врачихи надо сказать, что меньше всего лежала под ним она сама.

*   *
*

Три недели пути в теплушке, и мы наконец в Томске. Нас выстраивают колонной человек в 200, и мы впервые со времени ареста шагаем пешком по улице города. Всюду с любопытством и испугом разглядывают процессию пестро одетых женщин, явно не похожих на уголовников. Старушки крестятся и издалека крестят нас, опальных.

Пришли в какой-то огромный барак с двухэтажными нарами, стоявшими четырьмя рядами во всю длину здания. Там уже женщины из других городов. Теснота невообразимая. Нам сообщают, что в Нарым нас повезут только весною. Там будто бараки еще не построены. На нарах мы оказались рядом с Верой Ярутиной, и мы сразу как-то «прилипли» друг к другу.

Разрешили выходить во двор, и мы с Верой почти не сидели в вонючем бараке, все ходили и ходили вокруг него.

Барак решили разгрузить и сделали это довольно оригинальным способом: была объявлена запись на зимние вещи (рейтузы, варежки, чулки и т. д.). Когда в списке набралось 60 человек, сказали: «Хватит, больше записывать не будем, а кто записался, собирайте вещи в дорогу». На улице стоят два грузовика. (В Свердловске была более высокая техника — «черные вороны».) Я среди шестидесяти. Догадавшись, что мы попали в ловушку, стараемся увильнуть, но никому это не удается. Привозят нас в тюрьму, в изолированную угловую камеру. От многих женщин я потом слыхала, что, переступив порог этой камеры, они подумали: «Отсюда живыми не уйдем». Так же думала и я. Холод, стены, покрытые инеем, грязь, захламленность и — самое главное — вонь от параши с нечистотами, от которой кружится голова, несмотря на то, что многие стекла в окнах выбиты и ветер свободно гуляет по камере. А мы уже

заперты. Начинаем шуметь: все дружно стучим ногами в дверь, орем, пока не появляется начальство. Требуем удалить парашу и выводить нас на оправку в уборную. Поначалу отказывают, но парашу засыпают хлоркой. Запах хлора лучше, чем запах аммиака, но и он, конечно, мало радует. Через пару дней добиваемся своего — нас начинают выводить на оправку, а парашу из камеры забирают. Окна забиты досками («корыта» за окнами были и раньше). Камеру общими силами почистили, но сырость, затхлость победить, конечно, невозможно.

Чтобы не поддаваться унынию, затеваем разные игры, беседы, «лекции». Каждый рассказывает о своей профессии в доступной для всех форме. Рассказывали о своей работе геолог, зоолог, повар и т. д.

Я сама задавала себе головоломные математические задачи и в бессонные ночи решала их без конца.

Очень развлекали надписи на стенах камеры — стенгазета заключенных во всех тюрьмах. Особенно здесь запомнилась надпись: «Заповеди ЗК — не верь, не бойся, не проси и лишних слов не говори. Юсуп Мухитдинов».

В мудрости ему не откажешь!

И тут я подошла к памятной встрече в этой тюрьме, благодаря которой у меня открылись глаза на многое.

Как-то вечером открывают дверь и заталкивают в камеру трех женщин. Одна из них — самая молодая,— с толстой светлой косой, закрученной над самым лбом, и повязанная полотенцем, выглядела так, как будто она только что вышла из собственной бани на собственном подворье, хотя побывала она всего лишь в бане тюремной. Было столько домовитости и уюта в ее разрумянившемся лице, в этом полотенечке, во всем ее облике, что женщины наперебой стали звать ее к себе в соседки.

Она быстро вскарабкалась на верхние нары, стала устраиваться, болтать с женщинами и вскоре обрати-

лась ко всем: «Что-то вы приуныли, надо вас расшевелить. Давайте сыграем в такую игру: я буду говорить, что я люблю, а вы, если будете со мною соглашаться, поднимайте руку, не соглашаетесь — руки не поднимаете. Поехали!» И начинает быстро-быстро перечислять всякие хорошие вещи и вдруг... «люблю крыс в сметане» или «вошь на аркане»... А многие женщины по инерции поднимают руки, и тогда смех, всеспасающий смех...

Я все гляжу на эту девчонку (ей было 25 лет, но выглядела она моложе) и думаю: почему она кажется мне такой знакомой и давно как будто любимой? Что и кого напоминает ее говорок, повадки? Неужели Серпухов? (Если бы я ее знала раньше, то, конечно, не могла бы забыть ее зеленые глаза, похожие на спелые прозрачные виноградины).

А через пару дней Аня (так ее звали) кубарем сползает ко мне с верхней полки и сразу начинает обнимать, целовать: «Так вы Соня Швед, вы сестра Ревекки Ароновны, моей учительницы по химии!» И начинает быстро, быстро рассказывать, как они ездили с Ревеккой Ароновной по деревням и вели там антирелигиозную пропаганду, показывали опыты «обновления икон» и «появления крови господней» и т. д. и как им иногда угрожали палками, а в других случаях встречали и провожали с большим радушием. Рассказывает мне, рассказывает всей камере, захлебывается от радости по поводу нашей встречи.

Я была рада не меньше, чем Аня. В Серпухове я знала ее отца — мастера на Ново-Ткацкой фабрике, где я работала, и двух сестер: одна — ткачиха, другая — учительница.

Позднее, когда нас перевели в «женский монастырь» (так мы называли 4 барака, отгороженные высоким забором, где были размещены более двух тысяч «жен») и мы получили возможность потихоньку разговаривать на прогулках, я из рассказов Ани впервые узнала, какие методы следствия применялись в некоторых горо-

дах даже в отношении членов семьи репрессированных.

Аня жила в Магнитогорске. Ее туда послали работать нормировщиком после окончания Московских курсов ЦИТ (Центрального института труда). Замужем она была за начальником одного из цехов металлургического завода. Когда ее арестовали (почти одновременно с мужем), у нее был годовалый ребенок. Арестовали не дома, а вызвали среди бела дня в НКВД, и домой она уже не вернулась. Няня, узнав от кого-то, что забирают и матерей, и детей, решила ребенка спрятать. Несколько дней она скрывалась вместе с ним, но ее выследили и ребенка забрали. Об этом узнала Аня уже в тюрьме от соседки, которая тоже была арестована.

Из Челябинска приехал в Магнитогорск следователь специально «по делам жен», и в отличие от Свердловска следствие здесь велось самое свирепое и чудовищное. «Для первого знакомства» он предъявил Ане «протокол допроса», заранее им заготовленный, примерно такого содержания (помню довольно точно): «Такого-то числа в сумерках мы с мужем сидели на диване, не зажигая света, и он стал мне рассказывать, как они в цехе нарочно ломают машины, устраивают аварии с людскими жертвами. Я ужаснулась, хотела бежать в НКВД, донести на мужа, но вспомнила о нашем ребенке и промолчала, хотя страшно терзалась» и т. д. Следователь вместе с помощником по двое суток держали Аню на ногах, заставляя ее подписать их сочинение. Не помогло. Устроили инсценировку: за окном — плач ребенка. «Это твой ребенок плачет, подпиши, а мы сейчас же выпустим тебя на свободу, к ребенку». Не помогло. Принес отпечатанную на машинке справку с подписями и печатями о том, что «приговор над мужем приведен в исполнение». Но Аня уже достаточно была закалена, чтобы и этому не поверить. А он твердит: «Муж твой расстрелян, терять тебе нечего, а ведь ты красавица, тебе надо жить и ребенка спасти. Ты комсомолка, а ве-

дешь себя, как старые бабы, которых мы на мыло переварили». Не гнушался и всякой пошлой лести и предложений. Об этом гастролере из Челябинска я слышала и от других женщин из Магнитогорска, но подробности они, естественно, не рассказывали (откровенность тогда была не в ходу). «Вещественным доказательством» его «художеств» был арест домработницы одного из ведущих инженеров Магнитки (вместе с его женой). И эта домработница так и прожила с нами 2 года в Томске, хотя писала бесчисленное множество заявлений. Дальнейшая ее судьба мне не известна.

Многие женщины и из других городов, очевидно, подвергались допросам «с пристрастием», но рассказывать об этом боялись. Сужу я об этом по тому, что они отказывались верить нам, свердловчанкам, что нас почти не допрашивали...

И все же... я считала еще тогда, что такие методы следствия — исключение, а не правило, что отдельные садисты не делают погоды. Прошли еще годы, пока я узнала правду.

Вот еще об Ане и ее сыне: «Находился в 1937 году с такого-то по такое-то число в детском приемнике». Дальнейшее место пребывания не известно.

В 1958 году я специально поехала в Серпухов, нашла родственников Ани, которые дали мне ее адрес и рассказали, что Севочку так и не нашли, хотя одна из сестер Ани специально ездила ради этого в Магнитогорск.

Я написала Ане и получила от нее очень странный ответ. В начале письма сообщала как о живом: «Моему Севочке уже 22 года», а в конце письма была приписка: «Ребенка своего я так и не нашла».

Вот я сейчас написала эти строчки, и у меня самой явилась страшная мысль: может быть, он действительно жив, но его усыновили новые родители, и именно поэтому он «пропал без вести», как пропали многие другие младенцы репрессированных?

Какое жестокое наказание для матерей!

* *
*

Очевидно, еще в самом конце 1937 года мы перебрались в «женский монастырь». Тут уже не сотни, а тысячи жен из разных городов, в том числе из Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы. Несколько женщин уже успели побывать в аналогичном лагере в Караганде. Там, говорят, более шести тысяч жен. Оказалось, что в нашей прежней тюрьме сидели женщины еще в нескольких камерах, но мы были так основательно замурованы в нашей «келье», что не знали об этом.

Привезли в «монастырь» 40 женщин с младенцами на руках: в некоторых городах разрешали грудных детей забирать с собой. И конечно, дети становятся общей заботой, общей радостью и горем — одновременно для всех нас, осиротевших матерей. Счастье детей, что в лагере было введено самообслуживание и во главе «хозяйства» была поставлена поначалу замечательная женщина — Шапошникова, о которой я еще расскажу дальше.

При всей скуд ости средств для детей и их кормящих матерей все же отбирались лучшие крупицы, самые свежие продукты. И странное дело: в тех ужасных условиях — 40 женщин плюс 40 детей в небольшой холодной камере, многие без теплой одежды, полуголодные — и остались все до одного живы, и даже болели относительно редко.

Но как однобоко развивались эти дети, как ограничены были их представления о внешнем мире!

Расскажу немного об этом. Продукты до ворот «монастыря» возили на лошадях мужчины, а у наших ворот они передавались женщинам. Поэтому мужчины в представлении многих ребят были неотделимы от лошадей, и, завидев где-нибудь «дядю» (из начальства) в нашей зоне, они начинали кричать «тпру, тпру»...

Когда начальство приходило в камеры, дневальная объявляла: «Внимание!» — и все должны были встать.

Так вот, осенью 1939 года, когда родственникам разрешили забирать ребят из лагерей, за нашим общим любимцем — Юрочкой — приехала бабушка. Ей, конечно, не разрешили получить ребенка из рук дочери: передавать его должен был комендант. Мать привела к нему Юрочку, но ребенок никак не идет от нее к чужому дяде. Тогда дядя дарит ему коробочку из-под папирос. Мама спрашивает мальчонку: «Что надо сказать дяде?»— и Юрочка в ответ: «Внимание!»

А одна мамаша даже успела получить от бабушки письмо, что забранный из лагерей ребенок каждый день перед обедом справляется: «Сегодня черпак на двоих или на одного?» (В лагерях это был очень серьезный вопрос, так как в голодные дни давали черпак баланды на двоих, а в «сытые» — на одного.)

Вот и сейчас плачу, когда пишу об этом...

Но довольно пока о детях.

Что же ждало нас в новом лагере-«монастыре»? Конечно, все те же двухэтажные нары. Поначалу отмерили по 38 см, а потом уплотнили до 35. Спят все на одном боку и поворачиваются на другой бок все вместе (мы говорили: «Давайте кантоваться»). В уборную, если ночью вставала одна, за нею тянулись уж и остальные. Помещения совершенно не отапливались даже в самые страшные томские морозы, хотя многие стекла были побиты. Отапливали собственными телами и паром от баланды, кипятка, которые приносили в камеру. Даже ночью на верхних нарах стояла жара и спали полуголыми. Но внизу становилось холодно, и мы, спавшие вверху, иной раз кидали вниз свои лохмотья для обогрева.

При отсутствии водопровода и канализации умывание затягивалось на весь день, а вне своей очереди в умывальную зайти нельзя было, так что помыть руки перед едой можно было зимою только снегом, а летом, если бог даст, под дождиком. Беспомощными мы оказывались только в борьбе с клопами: сколько их ни па-

рили, ни чистили, ничего не помогало. (Борьбу с клопами монополизировали наши молодые актрисы, балерины. Снимут доски с нар и скачут по балкам, воображая очевидно, что они на сцене. Особенно отличалась наша прима-балерина Большого театра Галя Лерхе, но о ней надо будет сказать особо.)

Все работы по камерам, уборным, умывальням, доставке пищи велись, конечно, по очереди, и все делалось с величайшей тщательностью.

Всем хозяйством, как я уже говорила, заведовала Шапошникова, женщина 43 лет — герой гражданской войны, жена Чудова — первого секретаря Ленинградского обкома партии. Шапошникова была одной из четырех женщин, делегированных впервые в США к Рузвельту для налаживания контактов еще до признания Америкой СССР (в 1933 году). В эту делегацию входила жена Молотова — Жемчужина.

Была наша Шапошникова исключительная умница, прекрасный организатор, мягкий и на редкость порядочный человек (и к тому же отличная шахматистка).

Сумела она вокруг себя сорганизовать отличный, дисциплинированный, постоянный коллектив, а по очереди работали на кухне и в хлеборезке все трудоспособные.

Продукты получал лагерь, как правило, с гнильцой: испорченную рыбу, мерзлую картошку, верхние листья от вилков капусты, удаленные, как негодные, при ее переработке, кукурузную муку с горьковатиной и т. д. И из всех этих продуктов тщательной промывкой, соответствующей заправкой умудрялись готовить какие-то «блюда», которые не вызывали такого отвращения, как тюремные. Много значит и то, что приносили их в камеры в чистых кадках — «с уважением к объекту».

Но иногда бывало так, что Шапошникова ничего поделать не могла: целыми неделями, например, не привозили соли, и нам казалось, что, когда она появится, мы ее горстями будем есть. А то, кроме прогорклой

кукурузной муки, ничего не завозят: ведь мы не обычные лагерники, участвующие в какой-то производственной работе и получающие соответствующий паек. Мы «паразиты», бездельники, и с нами не церемонятся.

Только когда началась страшная эпидемия куриной слепоты, а за нею еще более страшная — цинга, когда сотни женщин уже не могли стоять на ногах, и мы носили их на оправку, когда казалось, что скоро уже некому будет выполнять роль носильщиков, тогда приехала откуда-то комиссия и распорядилась доставить в лагерь рыбий жир, свежую рыбу, ежедневно поить всех без исключения женщин хвойным напитком (за уклонение строгое наказание). Зашевелились... но ненадолго. Прошел месяц, другой, и все пошло по-старому. Об эпидемиях я еще расскажу потом, а теперь вернусь к концу 1937 года, когда мы перешли в женский лагерь.

Вскоре нам разрешили написать письма родным, но предупредили, что все должны сообщить своим: «В Томске находимся проездом». Через некоторое время, к великой нашей радости, некоторые женщины стали получать ответы. (Продолжалось это 2—3 дня, и вдруг — конец. Ни одного ответа в продолжение нескольких недель.)

Поздно вечером как-то нас поднимает дневальная сигналом: «Внимание!» Приехало начальство и осматривает ряды нар. Со всех сторон несутся возгласы женщин: «Почему нам не выдают письма родных?» Ответ: «Родные от вас отказались» (!). Мы: «Не может этого быть, чтобы сразу все родные отказались, отдайте нам наши письма!» Он: «Если мы отдадим вам письма, вы не обрадуетесь, там проклятия в ваш адрес». Конечно, это было вранье, и, казалось бы, все должны были это понять, но все же... в разных углах камеры возникает истерика, то там, то здесь зовут врача: обмороки, сердечные припадки. Ужасная, незабываемая ночь!

А переписка с родными на этом и закончилась. Нам тоже не разрешили больше писать (до июля 1939 года).

Я была среди тех, от кого «отказались», письма ни одного не получила, но зато регулярно, через каждые 3 месяца, получала посылку и извещение о том, что на мой «текущий счет» зачислено 20 рублей (перевод от матери). Таких «счастливиц» было не более 15 человек на весь лагерь. Я была уверена, что мать приезжала в Томск и, узнав, что я нахожусь там, посылала посылки, но после освобождения выяснилось другое: мама как-то узнала в Одессе, что уголовники, находящиеся в общих лагерях, имеют право получать посылки и переводы один раз в 3 месяца и решила рискнуть. Раз, другой... Посылки не возвращаются, и она их шлет опять. Так поступать в то время могла только мать, но в отправке посылок, конечно, помогал ей мой брат Леля, живший вместе с нею.

Эти посылки были большим подспорьем не только для меня; мы честно делили их содержимое с друзьями в самые голодные дни.

* *
*

Вы, конечно, понимаете, что состав заключенных в «монастыре» был самый разношерстный: начиная от жен наркомов (так тогда называли министров) и председателя Совнаркома Рыкова и кончая женами председателей колхозов, работников КВЖД и т. д. Было много знаменитых актрис, была даже одна женщина-академик, и была старуха, больная трахомой, которая на вопрос: «За что тебя посадили, бабушка?» — отвечала: «А я знаю, доченька? За трацкизку за каку-то».— «А кто тебя осудил, бабушка?» — «Не знаю, доченька, бог ему судья, кто меня сюда упрятал».— «А на сколько же лет тебя осудили?» — «На 4 лет».— И старушка даже обрадовалась, что хоть на один вопрос сумела ответить. Неграмотных старушек там было немало.

Наиболее громкие фамилии вас, вероятно, заинтере-

суют. Вот они: кроме Рыковой, Бухариной, Гринько две Косиор (жена Станислава и жена Казимира), Раскина, Гуревич, две сестры Тухачевского, сестра Шейнмана, Догадова. Были еще и другие «наркомши», ничем не примечательные, и я их не запомнила.

Безусловно, одной из самых замечательных личностей из тех, кого я перечислила, была Бухарина (дочь известного экономиста Ларина). Ей было всего 22 года (вероятно, раза в два с половиной моложе своего мужа). Ребенку ее было года полтора. Красавица такая, что все единодушно говорили, такой еще не видали. И не кукольная красота, а необычайно одухотворенная, тонкая, поэтичная. Вероятно, о такой красоте писал автор «Песни песней». Такие фиолетово-синие глаза, сверкающие под длинными черными ресницами,— ни у кого таких никогда не видала. Была она очень скромна и по-девичьи застенчива.

Как будто это было вчера, помню тот день, когда мы, сидя почти рядом с нею на верхних нарах (про себя я это место потом назвала «лобным»), слушали чтение газеты, где было обвинительное заключение по делу Бухарина (стандартное — террорист, изменник родины, агент иностранных разведок); приговор — расстрел; хроника — приговор приведен в исполнение.

Бухарина слушала с широко раскрытыми глазами, но ни одной слезы, ни вздоха. Потом быстро соскочила с нар, побежала выливать парашу из умывальни (она была дежурной), а затем весь день кружила одна вокруг бараков, переступая быстро-быстро какими-то странными зигзагами.

А через пару дней весь лагерь уже знал то, что она рассказала кому-то сгоряча (скорее всего М. из Армении, которая, несмотря на разницу в возрасте, постоянно увивалась вокруг Бухариной и о которой потом говорили, что она ради сохранения своей красы готова предать и отца с матерью). Рассказ сводился к следующему: когда были опубликованы «разоблачения» Радека

в отношении Бухарина, последний, еще будучи дома, объявил голодовку, которая длилась как будто около трех недель, пока за ним не пришли. Прощаясь с женой, он сказал, что ни в чем не виновен, но на возвращение не надеется и сына ей придется растить одной. Не знаю, этот ли рассказ Бухариной послужил причиной того, что через несколько дней ее «увели за ворота», то есть предъявили личное дело, или вопрос был заранее предрешен. Позднее ее видели в Москве, в Бутырской тюрьме.

Сестры Тухачевские ничем особенно не выделялись из общей среды. Симпатичные, простые и доступные женщины. Чрезвычайно трудолюбивые, они шли на самые тяжелые работы. И неотлучно за ними следовала Римская-Корсакова, цыгановатого вида женщина, близкая родственница «того самого».

На втором году нашего пребывания в лагерях к нам приехала новая ЗК. Поместили ее очень близко от меня, на верхних нарах. Гляжу на нее и никак не могу вспомнить, где я ее видела. Познакомились: Софья Михайловна Авербах. Стали гулять вместе. Спрашиваю: «Мы раньше никогда не встречались с вами?» Она: «Нет, едва ли, я многим кажусь знакомой». И тут я сразу поняла: «Вы родственница Якова Михайловича Свердлова?» — «Да, родная сестра».— «И сидите за него?» — «Нет, сижу за сына, Леопольда Авербаха». Когда я сказала С. М., что знаю Авербаха по работе на Уралмаше, где он был последние годы секретарем райкома (Орджоникидзевского), она буквально «вцепилась» в меня. Ей, матери, нужно было узнать как можно больше о своем сыне, каждая мелочь, каждая деталь ее интересовала, а когда мои сведения оказались исчерпанными, она заставляла снова и снова повторять то, что уже было рассказано.

Сама она, конечно, много рассказывала о Якове Михайловиче. Возмущалась кинофильмом о Свердлове, где показана его болезнь и смерть в одиночестве. По ее словам, дело обстояло как раз наоборот: его окружали

родные, друзья. Она сама работала в Кремлевской больнице (вплоть до ареста), и во время болезни Свердлова ей вменялось в обязанность заниматься только братом, для чего она была освобождена от всех остальных обязанностей.

Софья Михайловна сокрушалась по поводу того, что у меня заметно ухудшался слух за время нашей совместной жизни. Она предупреждала меня, что я могу совсем оглохнуть, и настойчиво пыталась обучать пониманию речи по губам, но я плохо поддавалась обучению.

Исчезла она из Томска задолго до того, как оттуда стали увозить всех остальных ЗК. Вероятно, и она получила «личное дело».

* *
*

Среди женщин были великолепные певицы Большого и других оперных театров страны. Первое время после перевода в «монастырь» всюду раздавалось пение, но вскоре оно было категорически запрещено. И все же одну песню мы снова и снова заставляли потихонечку напевать наших певиц, и они пели, рискуя попасть в карцер. Это неаполитанская песня «Я знаю солнце». Слушали и заливались слезами. Плакали частенько и сами певицы, и, может быть, именно поэтому их пение казалось тогда волшебным.

Галя Лерхе — прима-балерина Большого театра — наша общая любимица. Участвовала в первой гастроли советского балета в Англию (вместе с Викториной Кригер) в начале тридцатых годов. Тоненькая «спичечка», скромная и трудолюбивая «девочка». Одета весьма оригинально: грубошерстное одеяло разрезано пополам. Из одной половины в дневное время монтируется юбка, другая заменяет жакет, шаль. На ночь обе половины воссоединяются завязками — одеяло.

Как-то кто-то где-то достал для Гали на время настоящую коричневую шерстяную юбочку. Прямо по ее худенькой фигурке. Нарядили и давай уговаривать: «Галя, станцуй! Коридор в твоем распоряжении, выставим «пикеты», чтобы не нагрянула надзирательница, станцуй!» Но Галя никак не может решиться: на сцене она, наверное, не глядела в зал, а тут все кругом знакомые — стыдно. Но вот женщины все заразительно «подыгрывают» сербияночку и... Галя пошла, пошла. Что это была за пляска! Или нам все тогда казалось невиданным и неслыханным?

Женщины знали Галину слабость: она была большим мастером не только классического танца, но и характерного. Каждый день наша Галя забиралась в какой-нибудь темный уголок и упражнялась, старалась не терять форму. Галя была второй женой Фурмана, о котором была написана книжка (Бориса Горбатова, если не ошибаюсь). Называлась книжка «Секретарь горкома». Речь шла о Горловском горкоме, имевшем большие успехи в благоустройстве города, росте культуры и благосостояния рабочих. Позднее Фурман работал в МК партии и покончил жизнь самоубийством в 1936 году, когда была репрессирована группа его товарищей.

Здесь же, в Томске, была первая жена Фурмана, которая была уже замужем за другим, но сидела за Фурмана. Обе они были очень дружны между собою. Первая жена относилась к Гале по-матерински.

Глядя на некоторых женщин, я часто вспоминала афоризм Свифта: «Что такое мораль? Башмаки. Почему? Она быстро изнашивается от хождения по плохим дорогам».

К числу таких женщин относилась наша новая «хозяйка», которая заменила Шапошникову. О ней бы и не стоило упоминать, но в связи с нею вспоминается любопытная фигура Дины. Вот это действительно «фигура» в прямом и переносном смысле слова. Женщина-

великан. Огромный рост, широкие плечи, и казалась она вполне пропорционально сложенной, хотя весила 12—13 пудов. Ничего похожего на женщин-толстух. Была каталем в шахте. Работала в лагере грузчиком на кухне и играючи поднимала сразу по два мешка муки. По разрешению комендатуры получала два арестантских пайка, но и это для нее было «на один зуб». Ее грозной силы побаивались многие женщины, но как ее любила наша детвора! Думаю, что дети и в этом случае судили правильнее, чем взрослые. Дина очень любила прогуливаться по «бульвару» с 4—5 ребятишками на руках, плечах, а для них это была чудесная забава. И вот когда кляузница Пономарева сменила нашу дорогую Шапошникову, Дина стала ее «донимать» и вскоре за свои выходки попала в карцер. Во время «расследования» комендант спосил ее: «Как вы посмели называть Пономареву сволочью?», а она, не моргнув, ответила: «Что вы, гражданин начальник, неужели я такую сволочь назову сволочью?» И, о счастье, через несколько дней, когда Дина еще сидела в карцере, туда же приводят Пономареву, пойманную с поличным на воровстве. Тут уж Дина потешилась! Во-первых, она поделила труд между собой и своей сожительницей: «Гроб повапленный (так она обращалась к Пономаревой), я буду наполнять парашу, а ты будешь выносить. Попробуй только отказаться!» Не прочь она была дать ей и «легкого» пинка: «Это за Шапошникову, это за воровство, это за кляузы, а это уж за меня». Не завидовала я Пономаревой, но, может быть, Дина ее кое-чему и научила? Должна сказать, что я любила Дину не меньше, чем детишки, чувствовала, что в этом большом теле большое человеческое сердце и большая доза юмора.

В 1939 году была перепись населения. Составляли бланки и на нас и при этом разъясняли, что мы имеем право писать «незамужняя» или «разведенная».

Нашлись такие, что писали именно так, но их было ничтожное меньшинство. Я уже говорила о Соколовой-

Марцинкевич, с которой мы ехали в одной теплушке из Свердловска. С этой чудесной рассказчицей мы снова оказались в одной камере в Томске. Вечерами, когда рассказывала Ида Геннадьевна, к нам собиралось из других камер 500—600 человек. Стояли в проходах так тесно, что рукой не пошевельнешь. Напоминало театр: на весь огромный барак, «пересеченный» (и затененный) нарами, горела лишь одна яркая лампочка, и под нею сидела «актриса» — И. Г. Почти весь барак был погружен во тьму. И вот рассказывает женщина тем же ровным, спокойным голосом, и, очевидно, слышно в каждом уголке — никто не жалуется и не просит говорить громче. Что это, чудо? Нет, прав, очевидно, Утесов, когда говорит, что люди сейчас разучились слушать простой человеческий голос, микрофон оглушил. Разве могли бы сейчас слушать тихий, приглушенный голос Н. К. Крупской, а мы слушали ее, затаив дыхание, в 20-е годы, и ни одного слова не пропадало.

Но Ида Геннадьевна оставалась с нами недолго, с необыкновенным человеком случилось необыкновенное: ее освободили — единственный случай в Томске, если не считать подсаженных.

Ида Геннадьевна многим из нас оставила наследство — страсть к рассказыванию. Не для большой аудитории, но в своей компании. Рассказывали все, что помнили, а когда запасы иссякли, начинали сочинять сами.

Были в Томске женщины, которые знали много стихов наизусть, и записи их ходили по рукам. Много стихов наизусть заучила и я (Маяковский, Пушкин, Лермонтов). Особенно мы увлекались Маяковским, которого я раньше, может быть, недостаточно знала, а может быть, по другим причинам не особенно любила. Мне гораздо ближе были такие поэты, как Некрасов и наш комсомольский — Безыменский. А тут Маяковский дошел до нас «над бандой» не только «поэтических рвачей и выжиг». Он стал для нас в те тяжелые времена особенно понятен и созвучен. И представьте, мы с самым

неподдельным пафосом, с особенным подъемом декламировали его «Советский паспорт», хотя сами были лишены этого паспорта. Может быть, эти стихи поддерживали в нас веру, что мы достойны быть советскими гражданами. Нас загнали в тупик, затоптали в грязь, но мы живы и будем жить!

А сейчас мне пришла в голову страшная мысль: может быть, эти стихи были нам так созвучны потому, что и Маяковский писал их вопреки той жизненной и творческой обстановке, в которой он находился? В поэме «Во весь голос» это обнажено, а в «Советском паспорте» скрывается где-то за строкой.

Увлекались мы и игрой в шахматы, хотя по-настоящему умелых игроков было мало. Делали шахматные фигурки из хлеба, и им постоянно угрожали две опасности: обыски комендатуры, когда их не только отнимали, но пойманного владельца шахмат могли посадить в карцер, и ...крысы.

Вообще, комендатура считала своим священным долгом пресекать любые занятия заключенных. Вот кто-то из пожарниц нашел на чердаке учебник химии. Какая радость! Мы все по очереди читали и перечитывали эту затрепанную книжку. Выследили, забрали.

Начинается «эра» вышивания. Распускаем все трикотажное, что еще осталось у нас, обмениваемся нитками, и пошло вышивание тюбетеек, рубашек (конечно, из расчета, что когда-нибудь их будут носить наши дети). Вышила и я две тюбетейки для Феликса и Шурика. Но вот кто-то донес, что в рисунках для вышивания попадаются орнаметы, напоминающие свастику (!). Не зря, мол, заключенные так рьяно занялись вышиванием — «тут подоплека политическая». И вот уже не карцер, а дело посерьезнее: нескольких женщин уводят за ворота, что означало начало следствия. Вышивание запрещено, но, как и всякое запрещение, оно потихоньку нарушается нами.

Что же не запрещено? Всякие работы по самообслу-

живанию: распиливание и колка дров для кухни (тут непревзойденный виртуоз Вера Ярутина), другие работы на кухне, уборка двора и помещений и т. д. Но есть у нас одна-единственная обязанность, так сказать, на общее благо: мы стираем белье для конвоиров всей томской тюрьмы. Стираем в наших умывальнях, очень тесных, без канализации и водопровода. Воду греем на кухне. Стирка, конечно, ручная. Всегда спешная, и поэтому заставляют сушить способом, о котором я до Томска и не догадывалась: встряхиванием на руках. Летом это делается на улице, а зимою прямо на нарах, на обоих «этажах». Внизу стоят женщины во весь рост, а вверху на коленях, и трясем, трясем до полного изнеможения. И представьте, высушивали! А ночью уже делалась более приятная работа: мы «гладили» белье, подкладывая его под себя.

Еще одна деталь нашего быта — баня. Обычно нас поднимали неожиданно, ночью. Собирайтесь в баню! Каких тяжелых испытаний ни ждешь впереди в связи с баней, такая весть радует наши сердца.

* *
*

Я уже рассказывала об эпидемиях цинги, куриной слепоты, но зимою и летом 1939 года у нас свирепствовала самая страшная «эпидемия» — сумасшествие. Да, оказывается, и сумасшествие — заразная болезнь, когда люди живут невероятно скученно, когда нервы напряжены до последней степени. Началось с женщины, о которой было известно, что она уже болела раньше, на воле. Ночью она вдруг вскочила и начала плясать прямо по телам своих соседок. Пляшет, поет, декламирует стихи.

Вызвали работников комендатуры, врачей. Что делать, как изолировать больную от остальных?

Единственное место в лагере, которое можно освобо-

дить для больной,— карцер. И вот она оказывается одна взаперти. Но из карцера начинают раздаваться по всему лагерю такие душераздирающие крики, что мы уговариваем врачей — наших же заключенных — выпустить ее из карцера и отдать на наше попечение. И вот она несколько дней среди нас, никого не обижает, только без конца декламирует (память великолепная), поет, танцует и... плачет. Пока ее устраивают в Мариинскую тюремную больницу (в Томске тоже, вероятно, была психиатрическая больница, но разве можно туда поместить ЗК?), пока ее собираются отвезти в Мариинск, проходит 3—4 дня, и за это время успевает сойти с ума еще одна пожилая женщина. Ее дочь работала на телевидении (тогда это была еще скорее экспериментальная работа). Мать все «видит» свою дочку на экране, разговаривает с нею или вдруг начинает кричать, плакать по поводу того, что дочка на нее не смотрит, отвернулась от нее. Отказывается от всякой пищи. Пытаются вводить питание искусственно...

И так одна за другой — не меньше 12 человек. И все они остаются в камерах, пока их не увозят в Мариинск. Особенно мне запомнился случай с нашим единственным академиком. Должна сказать, что она с самого начала казалась странной: ни с кем не дружила, вид у нее был угрюмый, исключительно небрежно носила свои лохмотья, но все это мы приписывали тому, что «кто раз вкусил науку, не смеется никогда». И вдруг под окнами барака раздается страшный крик: «Земли хочу, земли хочу!» Лежит на земле, вцепилась в нее руками — никак не оторвешь — и кричит. Даже Дина оказалась неспособной справиться с нею, поднять ее с земли. Я тогда, признаться, думала, что если я сойду с ума, то, вероятно, также буду цепляться за землю: уж очень я стосковалась по возможности поваляться на травке, быть поближе к земле, к воде. (И позднее, уже в Ухте, когда нас еще под конвоем водили на работу через небольшую рощицу, я, грешным делом, часто

«спотыкалась», чтобы только иметь возможность прикоснуться к траве или сорвать цветок.)

* *
*

Из нашей компании никто всерьез не пострадал от цинги, никто не сошел с ума, не «ушел за ворота», не сидел в карцере. И за это все мы должны благодарить друг друга. Мы были очень «дружные ребята», заставляли друг друга гулять, работать на свежем воздухе даже в самые холодные и ненастные дни, старались иметь про запас для всех какой-нибудь сухарик или кусочек сала на самый черный день, постоянно старались быть занятыми, поддерживать друг в дружке бодрое настроение. Все это помогало.

Из кого же состояла «наша компания»? В основном это были землячки-свердловчанки: Вера Ярутина — наша самая улыбчивая, добросердечная и энергичная художница, жена директора Уральского горного института; Надя Заостровская — химичка, жена Гребенева; Моносова — кандидат педагогических наук, жена Степанова, работавшего вместе с нашим Иосифом. Кроме того, в нее входили: Аня Прокофьева, о которой я уже рассказывала; Ида Файн — жена большого друга нашего Иосифа, с которым они работали вместе еще в годы молодости; Минна Думер — одна из лучших учениц Фортуната Викторовича Каминского, подруга моих старших сестер. Это было основное ядро, крепко сознававшее свою коллективную ответственность друг за друга, но у каждого из нас были еще и другие друзья, другие привязанности.

* *
*

Возможно, что именно «эпидемия» сумасшествий, усиление цинги и других заболеваний заставили поше-

велиться ГУЛаг. Я уже говорила, что нам разрешили писать заявления. Правда, толку от них не было никакого, но все-таки временно это как-то создавало разрядку. Вслед за этим начали выдавать справки о месте нахождения детей. В первую очередь это касалось тех детей, которые были забраны в детприемник. Получила справку и я: «Феликс и Александр Швед находятся в детдоме в г. Бердске Новосибирской области».

Разрешают писать письма в детские дома. Пишу и я, но ответа нет и нет (я уже рассказывала, что дети были увезены из Бердска еще в начале 1938 года).

В июле разрешают матерям, у которых дети находятся в Томском лагере, вызвать родных для передачи им детей. Затем разрешают и остальным заключенным написать по одному письму родным.

Тут начинается период, который весь был заполнен слезами радости и слезами великого горя. Почти каждое письмо с воли читалось и перечитывалось всеми. У одних радость — дети воспитываются у родных, здоровы, все в порядке. У других — о детях ничего не известно или известно самое печальное...

А тут уже начали появляться бабушки, вернее, не сами бабушки, а сообщения, что они приехали в Томск за внуками. Прощание матерей с малышами... Содом! А я все не получаю ответа — ни из Бердска, ни из Одессы.

26 августа. Начиная с 1935 года, когда в ночь на 27 августа арестовали Иосифа, это самый тяжелый день в моей жизни. С утра хожу уже взвинченная. И вот как раз в этот день я наконец получаю письмо со штемпелем: «Гайсин». Открываю конверт. Фотография без единого слова приписки. И какая фотография! Вот он итог четырех лет! Моих мальчиков трудно узнать: какие-то тупые, испуганные личики. Особенно страшен Шурик: полураскрытый рот, заторможенный взгляд, короткая стрижка — лицо придурковатого арестанта (такие уж тогда были у меня ассоциации). А обувь, что у них

на ногах? Носки отошли от подошвы, рваные башмаки или что другое? Но я уже ничего видеть не могу. В первый раз в жизни дикая истерика. Кричу, ору только одно: что сделали с моими детьми? Сбегаются все мои друзья, начинают успокаивать, но это самое неразумное: вместо того чтобы успокоиться, я начинаю лупить их ногами, отгонять от себя. А ведь я не теряла сознания, все помню и помню даже, как я сама себя успокаивала: самое главное, что дети живы, живы они у тебя, эгоистка этакая, у других и этого нет!

Но разве можно было успокоиться, получив такую ужасную фотографию? Можете меня корить за слабость, но все-таки с ума же я не сошла... И слава богу, что в сентябре-октябре начался великий разъезд — ликвидация томского лагеря многострадальных женщин.

В какой-то степени этот лагерь был прообразом тех особорежимных лагерей, в которых жили наши мужья: без права переписки, без участия в производственной деятельности и, следовательно, в голоде, холоде, лишенные вещевого довольствия и т. д. Но там было еще неизмеримо хуже — там жили не люди, а номера и беспросветность была еще большая, чем у нас. Оттуда не возвращались...

Итак, нас начинают развозить по лагерям общего типа, которые ни в какое сравнение не идут с теми лагерями, о которых я говорила выше. Обычно они устраивались вблизи крупных новостроек, действующих предприятий и других трудоемких объектов. В них все трудоспособные заключенные принимали так или иначе участие в производственной работе. Работали часто рядом и наравне с вольнонаемными или, во всяком случае, под их началом; получали относительно неплохое питание, одежду и даже небольшое («на папиросы») денежное вознаграждение. Но самое главное — имели возможность переписываться с родными. В этих лагерях находились все уголовники, осужденные за «преступления по должности», так называемые бытовики — осужденные за аборт, за ругань и т. д.

Были здесь и многие «политические» — как правило, беспартийные или осужденные уже после 37-го года, когда меньше стали направлять в особорежимные лагеря. Но не так-то скоро дело делается, как сказка сказывается. Со времени, когда нас начали снаряжать в путь, до прибытия к месту моего назначения — в Ухту — прошел без малого год.

Из Томска женщин с гуманитарными профессиями, врачей, а также тех, кто не имел определенных профессий, направляли, как правило, на восток (потом мы узнали — в Магадан, Яю и др.); инженеров, техников — на запад. Я была в числе последних.

Едем уже не в теплушках, а в обычных арестантских вагонах, отличающихся от пассажирских вагонов небольшими зарешеченными окошками и сплошными нижними и верхними нарами без разделения на купе. Я забираюсь наверх и прилипаю к окошку. Подумать только, два года не видала настоящих вольных людей (не причислишь же к ним стрелков, надзирательниц и прочих)!

А тут на полях еще идет уборка урожая, вспашка зяби. Люди трудятся, дышат вольным воздухом, может быть, поют, может быть, и бранятся — живут настоящей вольной жизнью! Проезжаем близко от какой-то деревни: женщина стирает белье в корыте, возле нее увивается малыш. Как я завидовала ей, как мечтала о такой простой деревенской жизни!

Приехали в Новосибирск — первая пересыльная тюрьма. После бани и всяких формальностей привели в камеру. Комната не очень больших размеров. Крашеный пол чисто вымыт. Нары хоть и двухэтажные, но стоят только возле стен, посреди комнаты свободное пространство. После Томска здесь кажется даже уютно. И женщины ЗК какие-то опрятные, чисто одетые и умытые.

Оказалось, что в камере все «урки». Запомнилась одна интересная женщина. Румяные щеки, гладко зачесанные волосы заплетены в толстую косу. Коричневая

кофточка мужского покроя застегнута на все пуговки. Вид скромной домработницы старых времен. Ее начинают упрашивать «старожилы»: «Нюша, спляши для гостей». Она отказывается: «При чужих стыдно». Но ее «уломали», и оказывается, она не только очень мило пляшет, но и хорошо «играет» деревенские песни.

Неужели у этой тихой, миловидной женщины может быть чем-нибудь запятнанная совесть? Ограбления с убийствами — вот за что она осуждена! Обычная история: вышла замуж, муж оказался бандитом, любовь пересилила...

И еще в этой же новосибирской тюрьме: с нами вместе в этап отправляли пожилую женщину. Белейшая кофточка и такой же платочек на голове. Постное строгое лицо в глубоких морщинах. Ни дать ни взять монашка. Проверка документов: статья, соответствующая преднамеренному убийству. Не верю своим ушам, но она сама поясняет: «Мужика своего топором зарубила. Бог простит, сладу с ним не было, с пьянчугой окаянным...»

Еще много у меня было встреч с «урками», но сейчас некогда о них вспоминать. Вперед и вперед, к новым пересыльным тюрьмам, сторожевым вышкам!

В какой-то мере моя торопливость сейчас, вероятно, отражает то нетерпение, с которым мы передвигались к месту назначения.

Мы уже в Челябинске. Тюремное здание — памятное для меня: в 1931 году, когда я была на практике на ферросплавном заводе, это было единственное приметное здание на пути с завода к центру города. Теперь там улица Российская, застроенная большими домами, и здание тюрьмы среди них «потерялось».

В Челябинской тюрьме я пробыла долгих три недели. Родным, челябинцам, ничего не сообщала, так как боялась, что они и так уже могли пострадать из-за связи с нашей семьей. В тюрьме здесь сидели жены, которые были арестованы еще в те считанные сентябрь-

ские дни 1937 года, когда забирали «членов семьи изменников родины». Их почему-то забыли отправить в лагеря, и они так и оставались в тюрьме. Женщин в тюрьме вообще оставалось мало, поэтому каждой из них часто приходилось мыть полы в коридорах, мужских уборных. Испытала это «удовольствие» и я.

* *
*

Едем дальше. Свердловская пересыльная тюрьма. При обыске у меня исчезает мой лучший «наряд». Ладно, нам не привыкать.

Приводят в камеру. Тут уж буквально яблоку пасть негде. У одной стены стоят железные койки, а все остальное пространство занято сидящими прямо на полу женщинами. Койки для больных, и на одной из них оказывается Элла Ш., которая была с нами в Томске, но отправлена была с предыдущей партией. В Томске мы почти не разговаривали друг с другом. Знала, что она первая из женщин Советского Союза стала инженером-высоковольтником. И вот Элла подбегает ко мне, тащит к своей койке, укладывает рядом с собою и, лихорадочно блестя своими огромными серыми глазищами с темными подглазьями, начинает горячо шептать на ухо: «Ты ничего не знаешь? Нас предали, заключили договор о дружбе с Гитлером. Ты скажи, ради этого всех коммунистов посадили в тюрьму? Ну что ты молчишь, говори, говори!» А я онемела. Смотрю на Эллу и думаю: вот почему она на койке — она сошла с ума! Да, я никак не могла принять ее слова за правду. Но постепенно она начинает довольно связно рассказывать все то, что вычитала из случайно найденных ею старых газет, и я чувствую, что «сумасшествие» начинает овладевать и мною. Все что угодно можно было ожидать, но договор о дружбе с фашистами, раздел Польши с теми, кто сжигал книжки Маркса, беспощадно расправлялся с

коммунистами, устраивал еврейские погромы, с нашими злейшими врагами и врагами мирового рабочего движения — к этому мы были совершенно не подготовлены!

Так мы лежали, крепко прижавшись друг к другу, ища друг у друга объяснений и поддержки от свалившегося на нас ужаса. Мы попали с Эллой в один этап, прожили вместе в Котласе до мая 1940 года.

* *
*

Итак, мы уже в Котласе, на перевалочной базе. Навигация кончилась. Дальше будем двигаться весною, вернее, летом, а пока остаемся зимовать в палатках. По площади палатки не уступают бараку среднего размера. Сделаны из двойного брезента и по низу обшиты досками, но все же в дождливую погоду промокают насквозь, а зимою в них, конечно, замерзает вода, а с нею вместе и люди. Отапливается двумя железными печурками, но ночью, к сожалению, топить не разрешается, поэтому работа в ночной смене для нас праздник. А работаем мы в овощехранилищах, перебираем картошку: обрываем ростки и отделяем гнилую. В овощехранилище температура близка к нулю, но не ниже нуля. Зато сырость, запах гнилой картошки тоже мало радует. Нас за ударную работу кормят три раза в день горячей пищей. Иногда даже дают пирожок с картошкой или капустой. Это не Томск, но все же... «Наши бедные желудки были вечно голодны», и вид картошки нам покоя не давал. Уносить в палатку совершенно невозможно, так как нас постоянно обыскивают. Едим сырую, прямо в овощехранилище. А потом начинаем приспосабливаться: в каждом отсеке, где происходит сортировка картошки, горит керосиновая лампа-молния; из проволоки сделали сеточки-подвески и печем картошку. За 10 часов работы каждая из нас получает по крайней мере по одной большой полной картофелине. Какая

прелесть! Но... подводит запах печеной картошки. Приходит начальство и угрожает всякими страшными наказаниями за один этот запах: самое картошку им так во всю зиму и не удалось засечь — у обоих входов выставлены пикеты. Условный сигнал, картофелины моментально снимаются с ламп и надежно прячутся, а конвоиры ни за что не выдадут нас, они тоже любят печеную картошку...

В Котласе, в палатках, люди менялись и менялись. Встреч было очень много. Расскажу о самых запомнившихся.

Раньше всего — больная раком матки немка. Она уже была очень плоха, лежала на нарах с обильными кровотечениями, молила, чтобы ее отвезли в больницу на операцию, но так и не дождалась... Но мучилась она, может быть, не столько из-за своей болезни, сколько из-за роковых вопросов: как это могло случиться, что ее, коммунистку, ее мужа и других товарищей, тоже коммунистов, бежавших от Гитлера в Советский Союз, посадили в тюрьму? Посадили еще задолго до заключения договора с Гитлером — в 1937 году. Она мучилась сама и мучила других, больше всего меня: «Мы иностранцы, мы многого не понимаем в вашей стране, но ведь вы-то должны знать, как все это произошло?» И никак она поверить не могла, что и мы ничего не понимаем. Эту немку, конечно, мне не забыть.

Я еще тогда не знала, как много иностранцев, искавших в Советском Союзе убежища, оказались за решеткой,— не знала, в частности, что прославленный и всемирно известный венгерский коммунист Бела Кун тоже погиб в 1939 году.

Позднее несколько месяцев с нами в палатке жила большая группа эстонок, которые в ответ на наши вопросы, какая статья за ними числится, посмеивались: «Не знаем».

Работала с нами вместе на картошке пожилая женщина, большевичка с дореволюционным стажем. До

ареста была культпропом Куйбышевского обкома партии. Ей были предъявлены самые страшные обвинения: террористка, вредитель и т. д. Она долго ничего не подписывала, но в конце концов решила, что надо во что бы то ни стало выбраться из Куйбышевской тюрьмы, чтобы иметь возможность написать Сталину и покончить с издевательством над своей седой головой. Ради этого она и решила подписать сочиненные следователем «показания». Дали 15 лет. Отправили на север через Котлас. И вот она уже полгода пишет Сталину, пишет в другие инстанции, но ответа ниоткуда. Таких случаев, когда люди считали, что имеют дело с местными извращениями, и старались любой ценой, вплоть до самооклеветания, выбраться из первого места заключения, было немало.

Женщина — крупный научный работник (назову ее К.) — арестована была в 1938 году. Ей предъявляется обвинение в подготовке террористического акта против Молотова. Она не признает себя виновной, так как обвинение действительно — чудовищная выдумка. Ей зачитывают «обличающие» показания одного из лучших ее друзей — работника Коминтерна. В подлинности его подписи она сомневаться не может, и ничего, кроме омерзения, глубокого разочарования в товарище, эти показания вызвать у нее не могли (она еще была новичком и не знала, как вымогаются такие показания!). Сама она никаких ложных показаний не подписывает. «Следствие» ведется интенсивно. Ее сутками держат без сна и еды. После одного из таких сеансов, когда ей, совершенно измученной бессонницей и стоянием на ногах, разрешили присесть, в комнату вошел человек с седой головой очень внушительного, импонирующего вида. Подошел близко к ней, уставился в нее большими умными глазами, а затем, кинув с презрением: «Как вам не стыдно?!» — плюнул ей прямо в лицо. У К.— очень сильной и много испытавшей женщины — началась истерика. Кричала: «Что я сделала, чем я виновата?» И тут

ей подсунули бумажку, которую она и подписала в состоянии гипноза (в последнем можно не сомневаться). Привели ее в камеру. Свалилась и проспала около суток. Ее товарищи по несчастью уже понимали, что с нею случилась беда, и, как только она проснулась, стали ее расспрашивать, заставляли шаг за шагом вспоминать ход допроса, и... можете себе представить ее ужас, когда она вспомнила все. Тут уже пошла обычная история, требование бумаги, чернил, писание заявлений... Финал — 15 лет заключения.

Мать К. и ее братья по настоянию матери распродали все ценные вещи, чтобы нанять самого «дорогого» адвоката. Перед отправкой К. в 1939 году получила единственное свидание с матерью, и та ее спросила: «Что же, адвокат тебе ничем не помог?» К. опешила — она даже не знала о существовании договора с адвокатом. Вернулась она после реабилитации только благодаря тому, что не попала в особорежимные лагеря. Была восстановлена в партии. Получает персональную пенсию и ведет пропагандистскую работу. Об этом я узнала от самой пострадавшей, которой верю как себе самой.

Мне в какой-то степени понятно, что побуждало Сталина к злодеяниям. Мне понятно также, что можно было вызвать в народе психоз недоверия, искания врагов везде и всюду. Но я снова и снова задаю себе вопрос, откуда брались «кадры» нравственных палачей (не говоря уже о физических), которым могла бы позавидовать любая инквизиция?

Кто они? Будущие власовцы? Полицаи? А может быть, «верные сыны Родины», выпестованные Сталиным, делавшие свое черное дело во имя его торжества, с которым они отождествляли торжество коммунизма?

Могут сказать: так было и так будет. Тираны всегда находили армии палачей: инквизиция, опричнина, фашизм, сталинщина, тридцать седьмой год...

«Так было, так не должно быть!» — говорим мы.

Народы мира в конце концов научатся управлять своей судьбой без тиранов и палачей.

* * *

Среди других встреч особенно волнующей была одна. В отличие от Томска, в Котласе не только разрешали играть в шахматы, но даже устраивали шахматные турниры. И вот в списке участников турнира вижу фамилию Крумин. Неужели тот самый? Недолго думая, записываюсь на турнир, чтобы иметь возможность попасть в клуб. Он! Гарольд Иванович Крумин — член партии с 1909 года. Знаю его как редактора «Экономической газеты» еще при жизни Ленина, редактора «Правды» (после Бухарина Троцкий иронизировал: «Круминизированная «Правда»). Затем он попал в Свердловск уже в какой-то степени опальным. Был до раздела области председателем Уралплана, а затем Челябинского облплана. Коган работал непосредственно под его руководством, и надо сказать, что отношения у них были хорошие.

Встреча в Котласе нас обоих обрадовала, удивила и... огорчила. Гарольд Иванович очень постарел, явно сдал, хотя пытался улыбаться. Работать вместе с другими мужчинами грузчиком он не мог, оставался дневалить в палатке (в Котласе дневальный не то что в Томске — он делал самые черные работы: убирал помещение, выносил помои, приносил воду, пищу и т. д.). У дневального, как у «паразита», паек был ничтожно мал. Правда, работающие ЗК частенько делились с ним своим пайком. В общем Г. И. не жаловался... Много читал, вот и в шахматы играл и взял первенство в турнире. Удалось нам с ним встретиться еще пару раз. Когда меня отправляли в этап, он издали наблюдал за «построением» и помахал мне рукой. Вид у него был такой, что я поняла — долго не протянет.

После XX съезда в центральной печати стали появляться запоздалые некрологи на безвинно погибших при терроре крупных советских и партийных работников. Крумину также был посвящен некролог (к какой-то памятной дате его жизни). В нем, между прочим, сообщалось, что дочь его получила последнюю открытку из Котласа в 1943 году. Дальше след простыл...

* *
*

Прежде чем попасть в Ухтижмлаг, мы прожили недели две на распределительном пункте в Усть-Выми. Решительно не помню переезда туда на пароходе из Котласа. Полное затмение. Зато хорошо, даже отлично, помню все, что было на распределительном пункте. Два бревенчатых здания, похожих на старые конюшни. Пол земляной. Двухэтажные нары, но между ними столько свободного пространства, что хоть табун лошадей загоняй. В одной конюшне женщины, в другой — мужчины. Между ними никаких проволочных заграждений. Это совсем ново и непривычно.

Сидим на бревнышках, греемся на весеннем солнышке (июнь), оживленно беседуем с новыми знакомыми. Среди мужчин сразу выделяются две личности: старик профессор фармакологии и инженер-строитель средних лет Иван Иванович. Первый — большой знаток поэзии, и особенно Беранже. Когда читает «Мой старый фрак», держась дрожащей рукой за лацканы своего рваного пиджака, по его щекам текут слезы, а уж о нас, грешных, и говорить нечего...

На днях слушала по телевидению «Мой старый фрак» в исполнении Игоря Ильинского. Оно не нуждается в рекомендациях. Но куда уж Ильинскому до старика фармаколога!

Вот когда я убедилась, что мои оценки не преувеличены, что они полностью соответствуют качеству ис-

полнения! И все объясняется очень просто: для того чтобы исполнить «Мой старый фрак» в полном соответствии с трагическим смыслом его, надо было самому пережить глубокую, потрясающую трагедию, так же как «Я знаю солнце» никто не исполнит так, как матери, потерявшие детей.

А Иван Иванович специалист по Чехову. Да еще какой! Такие большие вещи, как «Палата № 6», читает без запинки наизусть. Читает великолепно, но мне, признаться, даже хотелось, чтобы он заглядывал в книжку: его феноменальная память сама по себе так поражала, что Чехов временами как-то отходил на задний план.

Вот так «безмятежно», среди интересных людей мы прожили несколько дней, пока до нас не дошли (не помню уж какими судьбами) несколько номеров газеты «Правда». Газеты ужасные — о падении Парижа. С примерно такими заголовками: «В Париже спокойно», «Беженцы возвращаются в родные места», «Жизнь французской столицы нормализуется» и т. д. Ни слова осуждения по адресу оккупантов!

Нашей «безмятежности» как не бывало. Как будто кипятком облили. И уже Беранже не согревал и Чехов не нужен был...

Возможно, наше соглашение с Гитлером было неизбежным следствием той позиции, которую занимали тогда (в 1939 году) Англия, Франция, Польша. Допускаю, что и неизбежно. Но не сомневаюсь в том, что Советское правительство зашло слишком далеко в моральной поддержке Гитлера, в оправдании его захватов в Европе. Вспомним хотя бы заявление Молотова о Польше — рухнуло «уродливое детище Версальского договора». Молотов попал здесь в весьма непочтенную компанию, о которой писал еще Маяковский: «На польский глядят, как в афишу коза: откуда, мол, и что это за географические новости?» История этого не забудет, не забудут этого и современные рабочие мира.

* *
*

Наступили дни распределения. Тут я особенно почувствовала тепло человеческих сердец. Дело в том, что заключенные с какими-либо дефектами здоровья отправлялись в лагеря инвалидов, где жилось, очевидно, не лучше, чем в Томске.

Женщины всполошились из-за меня раньше, чем я сама подумала об угрожающей мне опасности попасть в эти лагеря, если будет обнаружена моя тугоухость («глухой» меня тогда еще не считали). Началось обсуждение всяких проектов помощи мне во время разговора на комиссии. Конечно, все сводилось к тому, что кто-то будет мне подсказывать в случае необходимости. Обсуждали, кто лучше сумеет это сделать. Но все кончилось тем, что я попросила ничего не предпринимать и держаться подальше от «экзаменационного стола». Очередность вопросов в анкете мне была хорошо известна, а если какой-нибудь непредвиденный вопрос не сразу расслышу, беды не будет.

Как радовалась вся публика, когда оказалось, что никто из членов комиссии ничего не заметил, и я благополучно получила назначение в «производственные» лагеря.

Правда, тут вышел маленький курьез. Было объявлено, что я назначаюсь на завод концентратов. Спросила, что это значит. «На месте узнаете». И вот мы гадали: соки, витамины, каши? Что это за концентраты будет производить металлург? Уже на месте я узнала, что завод концентратов производит бромид радия. Конечно, и это не по моей специальности, но все же ближе, чем «соки-воды».

Было еще очень неприятно, что из жен я одна попала на «Водный промысел», где находится завод концентратов.

*   *
*

Из Усть-Выми нам предстоял этап пешим порядком. Кажется, до Княже-Погоста. Из Княже-Погоста мы ехали на открытых железнодорожных платформах. Вид открывался довольно унылый: много горелого леса, сухостоя. Все здесь казалось гиблым. И мы шутили, что если бы на остановке кто-либо случайно отстал от состава, то, наверно, побежал бы за поездом с криком «Караул!».

Хорошо запомнила, что в Ухту мы приехали 9 июня и кто-то сказал, что сейчас местное время 1 час 30 минут. На горизонте было солнце, но мы так и не поняли, что встретили — вечернюю или утреннюю зарю... 64-я параллель...

Еще пара часов езды на грузовике, и мы на «Водном промысле». Знакомых осталось совсем мало. Больше других я знала химика из Казани, преподавателя университета Галеева. Его сразу назначили в центральную химическую лабораторию, обслуживавшую не только радиевый промысел, но и геологоразведочное управление, нефтепромыслы и прочие предприятия, подведомственные ГУЛагу.

А со мною — задача. Черной металлургии там нет. Прошла через всякие мелкие работенки, и наконец по рекомендации Галеева меня вызвал к себе начальник ЦХЛ Торопов и мы с ним договорились о работе в лаборатории.

Удивительно интересный человек был этот Торопов! Разносторонне образованный, он обладал многими талантами, среди которых, пожалуй, самым главным было умение организовать людей таким образом, чтобы каждый использовал все свои творческие способности в максимальной степени. Он не приказывал и не упрашивал. Он ставил задачу, а в выполнении ее предоставлял максимум свободы подчиненным. Конечно, наблюдал за вы-

полнением, но издалека, всячески избегал мелочной опеки. В своей лаборатории каждый из нас чувствовал себя хозяином в гораздо большей степени, чем в своем жилище. Умудрялись даже стирать в лаборатории, варить собранные в лесу грибы, огородничать на лабораторном дворе и т. д., но никогда не забывали прямо-таки священную для нас заповедь: «Торопова не подводить». А если нужно было своими руками ремонтировать, окрашивать, мыть лабораторию, то мы это делали не только без нажима, но даже в иных случаях по секрету от Торопова, чтобы не огорчать старика.

А он заботился о своих сотрудниках и в первую очередь о приличном жилье, о талонах в столовую ударников, об одежде.

Никто, даже из мужчин, работавших в ЦХЛ под эгидой Торопова, не перешел в разряд «доходящих». Я пишу «даже» не зря: кто был в общих лагерях, тот знает, что в одних и тех же условиях мужчины оказывались менее выносливыми, чем женщины. Объясняется это многими причинами, среди которых и меньшая требовательность женского организма, и бóльшая приспособленность к жизненным условиям, и умение жить самостоятельно, чего нельзя сказать о мужчинах, оставшихся без женского ухода и т. п.

Часто очень быстро сгорали не слабые, а наоборот, очень сильные, здоровые мужчины. Обычно они долго не сдавались цинге, но, уж если она такого человека схватит, спасения не жди.

Запомнился ЗК Котов. Рано утром, бывало, иду к кубовой за кипятком и вижу его бегающим в одних трусах по морозу, умывающимся снегом или ледяной водой на улице. Здоровый, сильный человек, спортсмен. И вдруг встречаю его с распухшим бледным лицом, еле волочит ноги. Странно так, виновато улыбается: «Дохожу, С. А.» Что случилось? «Письмо плохое из дому получил, руки опустились, а цинга тут как тут». И уж ему ничем не поможешь. Пройдет несколько дней, и его

отвезут в лагерь инвалидов. Случай этот довольно типичный.

Повторяю, в ЦХЛ благодаря заботам Торопова люди сохранялись лучше, чем на других участках.

* *
*

Я долгое время жила вдвоем в крошечной комнатушке с инженером-электриком Ольгой Христофоровной Янсон. Ольга — латышка, примерно 1900 года рождения, человек с очень интересной биографией. Когда началась первая мировая война, ее послали из деревни, где она жила, в Ригу за запасом мыла и керосина. Все закупила, но домой уже вернуться не успела: деревня оказалась по ту сторону фронта. Осталась в Риге у тетки, которая вскоре эвакуировалась в Россию. Тетка устроилась прачкой у каких-то графов, а затем и Ольгу взяли в дом горничной. Здесь она узнала первые унижения подневольного труда. На ее беду оказалось, что старую графиню тоже зовут Ольгой. Господа стали давать молодой Ольге новые имена — не звать же горничную так, как графиню. Ольга не соглашалась, не отзываясь на новые имена, но ее в конце концов уговорила тетка согласиться на имя Леля. Повязала бант в волосах точно так, как это делала графская дочка. Скандал — горничная не должна подражать господам. Но самое страшное было впереди, когда молодой барчук стал приставать с ухаживаниями.

После февральской революции Ольга решила во что бы то ни стало найти себе другую работу. Господа собрались на лето в имение, она отказалась следовать за ними. Ее все же не уволили, разрешили остаться в Питере, в их доме. Ольга скоро нашла своих друзей и покровителей среди красногвардейцев, устроилась на работу на Путиловском заводе, вступила в партию большевиков, была одной из активных участниц Октябрьской революции.

Примерно в 1920 году ее — уже достаточно подкованную коммунистку — отправили на подпольную работу в Латвию. Проработала там пару лет. Тюрьма. Обмен на латыша, сидевшего за преступления в советской тюрьме. Работа и учеба в СССР. Снова Латвия — подполье, и снова тюрьма в течение 5 лет. Здесь у нее и родилась дочка. В 1932 году снова обмен. Приехала в СССР целая группа обмененных Советским Союзом заключенных из латышских тюрем. Встречали с музыкой, цветами. Ольгу взяли на работу в Оргбюро ЦК партии. Одновременно она поступила в вечерний энергетический институт. Только успела закончить его — арест. Уже не в Риге, не как подпольщицу, а в Советском Союзе.

Арестованы были все известные ей латыши, очевидно, именно как латыши.

Не стану рассказывать о том, как мы прожили с нею вместе более двух лет (до моего освобождения). Скажу только, что для меня было большим счастьем иметь соседкой такого разумного и во всех отношениях чистоплотного человека.

В сороковом году, когда Латвия вернулась в лоно Советского Союза, Ольга написала письмо родным, конечно не сообщая им, где она находится. В ответ пришло письмо от старушки матери и от сестры. Мать писала: «Наконец-то открылись ворота нашей тюрьмы...» Эти слова я никогда не забуду. Мать не знала, что за дочерью снова закрылись ворота тюрьмы. Она звала ее поскорее приехать повидаться...

Когда я в 1943 году уезжала из Ухты, Ольга написала своей дочери в Свердловск: «На свободу вышла твоя вторая мама». Она очень надеялась, что я заберу к себе ее дочь, но если вы будете читать дальше, то поймете, как тяжело сложилась моя жизнь и что мечта Ольги не могла осуществиться.

Я и сейчас переписываюсь с Колумбовной, как мы ласково называли Ольгу в Ухте не только за ее отчество (Христофоровна), но и за ее монументальный вид.

* *
*

Перевод в лагеря общего типа принес мне большие радости. На первое же мое письмо в Одессу я довольно скоро получила ответ: Феликс в Гайсине у сестры Лизы, Шурик — в Одессе у моей матери. Здоровы, все в порядке. Мама даже мне написала своей совсем неумелой рукой, что она ходит с Шуриком в парк и угощает его там кефиром с булочками.

Почти 3 года прошло с тех пор, как я рассталась с детьми, и вот наконец это письмо.

Затем пришло письмо от Феликса. Фотокарточка с надписью: «Снимали для галереи отличников» (школьной). Фотография прекрасная: возмужалый, похорошевший Фелюша, умные, проницательные глаза. На «сиротинку» совсем не похож.

Пришло письмо с фотокарточкой Шурика. Стоит во весь рост в матросском костюмчике, обувь, конечно, добротная. Личико несколько напряженное, но это от необходимости позировать перед фотоаппаратом. Разве это можно сравнить с той злосчастной фотокарточкой, которую я получила в Томске? Мои дети живы, здоровы, ухожены!

Шурик даже рисунок прислал с восходящим солнцем и подписал его: «Ресовал твой сын Шура».

В общем, была короткая пора, когда я понимала, каким счастливым можно быть и в несчастье.

Тогда я еще не допускала мысли, что Иосиф не вернется. Должна же когда-нибудь восторжествовать правда. Вернется, и соберемся еще все вместе дружной семьей.

И к работе у меня какая-то жадность была. Я ведь не химик. Пришлось многому учиться, и учителя у меня были отличные: Федор Александрович Торопов, о котором я уже говорила, и мой непосредственный начальник, заключенный О. Последний был довольно своеоб-

разный и, по мнению многих, даже скверный человек, но очень знающий и умелый химик и вообще образованный «дядька»: большой знаток истории культуры, в частности, живописи, поэзии.

Несмотря на эгоистический характер, он охотно передавал свои знания всем, кто только хотел всерьез учиться. При этом он своим ученикам и помощникам говорил: делайте только так, как я вас учу, но ни в коем случае не копируйте мои приемы в работе. Это было совершенно справедливо: О. имел право отступать от буквы инструкции, так как знал, где и в чем можно отступать.

* *
*

Наступил роковой день 22 июня 41-го года. Большинство из тех, кто имел индивидуальный пропуск и выходил на работу без конвоя, были в этот воскресный день на работе, так как требовалось выполнить какие-то срочные задания. Торопов тоже сидел в своем кабинете.

Часа в 2 дня пришел к нам в комнату М. И.— бывший крупный военный работник, а в то время отборщик проб для ЦХЛ на химических заводах, изготовлявших полуфабрикат для завода концентратов. Отозвал к двери О. и стал ему что-то шептать. Я не обращала на них внимания, но вдруг послышалось слово — «война»!

Я к ним:

— Что, что вы сказали?

— Да, Софья Ароновна, не хотелось вас огорчать, но ведь вы все равно узнаете — немцы напали на Советский Союз!!!

— Где, что?

— Украина, Белоруссия.

— Мои дети!..

Бегу к Торопову — помогите немедленно отправить

«молнию» в Одессу, Гайсин. Он очень подавлен известием о войне, но все же отправляется на почту, чтобы выполнить мою просьбу. Но тут оказывается, что никаких телеграмм на Украину не принимают.

Торопов меня успокаивает — это не потому, что Украина отрезана от СССР, а потому, что в лагерях объявлен особый военный режим. Приходится верить.

В понедельник утром объявляют, что отменены все виды пропусков. Все предприятия до особого распоряжения закрыты, на работу выходят под конвоем только занятые на самообслуживании, всем остальным оставаться в бараках, на своих местах. Ничего хорошего это распоряжение не сулит. И действительно. Ночью (ночи в это время там белые) выглядываю в окошко: усиленное движение, то из одного, то из другого барака выводят людей под конвоем. Аресты! Мы с Олюшкой уже не спим, наблюдаем. Вот вывели О., М. И. и многих, многих других знакомых. В эту и в последующие две ночи были «арестованы» несколько сотен заключенных. Многие из них вернулись потом на свои места, многих перевели в другие лагеря (в порядке обмена, аресты были везде), а некоторые были расстреляны, в том числе и О.

В последнем случае, возможно, сыграло роль то, что он сразу, как узнал, что началась война, заявил: «Ну, теперь полетят и наши головы». Слышала это не я одна. М. И. благополучно вернулся на свое место, так же как и другой близкий друг и подопечный О.

К концу недели нас повели под конвоем на работу. Без О. стало еще труднее работать, но ведь жизнь требовала своего, и железную необходимость делать во время войны все лучше и быстрее сразу почувствовали и мы, находившиеся за тридевять земель от нее. Предприятие наше сразу было переведено на военное положение, но не внешние, а внутренние побуждения заставляли еще и еще подтянуться и выжимать из себя самого максимум возможного.

Мучило неведение. Правда, 2 июля в бараки принесли «тарелки» — репродукторы, и мы слушали речь Сталина. Это было для нас колоссальным событием не только потому, что узнали из нее многое, но и потому, что почувствовали себя в какой-то степени причастными к тому, что происходило в стране.

Но эта речь вместе с тем разбередила все наши раны: мы-то были лишены возможности участвовать непосредственно в борьбе с врагом! Вся страна поднята на дыбы, наши самые близкие люди где-то далеко борются, страдают, гибнут, а мы в стороне!

До сих пор, когда вспоминаю о войне, не могу победить в себе чувство какой-то вины перед теми, кто воевал, погибал на фронтах. Но что я могла делать в годы заключения, кроме того, чтобы утроить усилия в производственной работе?

Многие мужчины подавали заявления об отправке на фронт, но отправляли... только уголовников и бытовиков.

Неожиданной радостью — последней в те годы — было для меня письмо от сестры Лизы из Гайсина, датированное 28 июня. Сестра писала: «Все уверены в том, что немцев скоро прогонят, а поэтому и не думают даже об эвакуации, сегодня утром ходили на базар, купили чудесную клубнику и сметану, все спокойны и просят меня не беспокоиться».

Я хотела этому верить, но не могла. К моменту, когда я получила письмо, моих родных в Гайсине уже не было: эвакуировались сестра с мужем, престарелый отец его и двое детей — дочка сестры 12 лет и мой сын Феликс 11 лет. Моя мама с Шуриком в момент начала войны были тоже в Гайсине, но они поспешили вернуться в Одессу, откуда эвакуировались вместе с семьей брата (брат остался на обороне Одессы) и вместе с семьей сестры Софы, муж которой был уже на войне.

Обо всем этом я узнала значительно позднее. Прошел целый год, пока я получила первую весточку о Фе-

ликсе, и полтора года до получения адреса Шурика. За это время моими сыновьями было очень много пережито.

* *
*

Итак, я в Ухте, а дети опять потеряны мною. Пишу без конца запросы в Москву, в Бугуруслан. Ответа не получаю. Был как-то такой случай: Торопову позвонили с почты, что пришла телеграмма с фамилией адресата, похожей на Швед. Так как по спискам ЗК известно, что в его ведении находится Швед, пусть пришлет кого-нибудь за телеграммой. Торопов не поленился, сам пошел на почту. Прочитал: «Дети и мама в Москве» — и, не вникая во все остальное, решил, что телеграмма действительно для меня. Принес ее весь сияющий: «С. А., для вас радость!» Взяла, прочитала и поняла — не мне...

Торопов сидел возле меня, тысячу раз извинялся, раскаивался в своей оплошности, и у самого слезы текут.

* *
*

Я никак не мгла решиться написать в Челябинск. Очень боялась, что они уже и так пострадали из-за Иосифа, из-за поездок Сони и Абраши в Свердловск (я в свое время забыла рассказать, что за несколько дней до моего ареста Абраша, муж Сони Бураковой, приезжал к нам в Свердловск). Но в конце концов иного выхода уже не было, и я почти без всякой надежды на то, что челябинцы имеют какую-либо связь с моими детьми, написала им письмо. Прошел месяц, другой. Ответа нет. Все, больше никаких надежд. Обо всяком я тогда думала... И вдруг приходит «воспитатель», держит в руках разорванный конверт: «Пляшите, Швед».

Я даже подумала, не издевка ли это, но нет — в розовом конверте оказалось четыре листочка, исписанные сестрами Иосифа — Евой и Соней. Ругали за то, что долго не писала, и, главное, извещали, что Феликс жив, хоть и не очень здоров, живет в Казани со Стасей, а сейчас находится в Сысерти в санатории, что со временем его заберут в Челябинск. Нашелся!!! Но о Шурике не знают ничего.

2 сентября кончался срок моего заключения. Если до письма из Челябинска я об этом даже не вспоминала, то после него я уже начинаю строить какие-то планы. А пока нас водят на работу под конвоем, и конвоир — голодный старикан из ближней деревни — сидит целый день в коридоре, караулит «преступников». Вечером, когда возвращаемся в зону, замечаем, что с ним что-то неладное делается: пьяный не пьяный, а пошатывается. Стали мы его шутя исповедовать, и он признался: «Куриная слепота у меня, понимаете; говорю я начальнику, ослобоните, ради христа, от этой службы, а он ни в какую, некем, говорит, заменить, а про вас, грешных, говорит: «Ты их, Степан, не бойся, они люди смирные и тебя доведуть!» Ну и пошло тогда смеху: «Арестанты смирные — конвоира доведуть». Вот ведь как: и верили нам, и делали вид, что считают нас чуть ли не террористами, врагами народа.

* *
*

Меня известили об освобождении не 2-го а 10 сентября. Получила справку об освобождении, в которой, к удивлению всех, не было примечания: «Остается по вольному найму до окончания войны в ведении Ухтижемлага. Мне говорят, что это просто по чьей-то рассеянности, из Ухты все равно не выпустят. И действительно, паспорт я получаю временный, на полгода, пособия на отъезд не дают и т. д. Оформляюсь на ра-

боте, но тут же начинаю хлопотать о разрешении на отъезд. Меня уговаривает Торопов: «О маленьком сыне вы все равно ничего не знаете, а старшего мы вам привезем из Казани». И действительно, вскоре отправляют продукцию завода (0,5 г в пересчете на чистый радий). Едут в Казань ответственное лицо и несколько стрелков, и старшему из них дается предписание привезти Феликса. Большего я в то время действительно ожидать не могла, тем более что обещали привезти и Шурика, как только он найдется. Даю деньги на билет, весь пайковый сахар, сало для Феликса, вольнонаемные присоединяют еще свои гостинцы, и жду моего сына.

Дали мне отдельную комнату. Как я ее тогда белила, мыла, «шоркала»! Феликс ведь в ней будет жить! Со склада выдали напрокат койки, постели, табуретки, столик. И сколько людей мне тогда от всего сердца старались помочь!

Возвращаются из Казани. Нет Феликса. Не нашли. Все. Кончились мои радости.

Забыла написать, что адрес, который я получила из Челябинска, посмотрел Галеев — уроженец Казани — и сказал, что это совершенно невероятно, чтобы там жили зимою люди. Это бараки, в которых ночуют рыболовы-любители. Но ведь Феликс действительно там жил и позднее написал мне, что они «воровали уголь из охраняемых куч», чтобы отопить эти злосчастные бараки.

Так или иначе, не нашли.

Вскоре после этого мне сообщили, что Феликс уже в Челябинске. О Шурике все еще ничего не знаю. Но и тут помогли челябинцы: очевидно, на запросы из мест заключения не считали нужным отвечать даже об эвакуированных родственниках, а вот в результате запроса кого-то из челябинцев я в начале 1943 года получила телеграмму из Чирчика от сестры Ривы: «Мама Шуриком Лизой семьей находятся Коканде», и адреса — свой, кокандский. Оба сына найдены, оба живы!!!

Из Коканда первое же письмо сильно насторажива-

ет. Сообщают что мама во время эвакуации стала хворать (ей уже под 70 лет), прибаливают и все остальные. Следующее письмо — тяжело болен муж сестры: воспаление легких. Я перестаю обедать в столовой, получаю «сухой паек», сушу сухари (голодание — моя вторая профессия) и стараюсь как можно больше сберечь для кокандцев. Благо, наш Вовочка тоже в Коканде, в военной авиашколе, и на его адрес можно послать посылку (в военное время посылки принимались почтой только для военных). Но что могли дать мои посылочки для большой изголодавшейся семьи? Уже позднее я узнала, как тяжело им жилось и как достался Коканд моему славному Шурику.

А от Феликса письма великолепные. Чувствовалось, что мальчик отдыхает от всех тягот эвакуации в зажиточной семье Бураковых. И приписки Сони к его письмам свидетельствовали о том, что мальчик ее не тяготит, а наоборот, радует. За Феликса я могла, казалось бы, быть спокойной. Но не тут-то было! Я все-таки боялась, что он в конце концов будет в тягость родственникам — они жили вчетвером в одной комнате. Помнила я и о том, что моих мальчиков в 1938 году зачем-то увезли из Челябинска в Одессу (подробности мне не были известны, но сам факт для меня уже не был секретом). Тосковала и рвалась я тогда к обоим сыновьям, хотя положение их было далеко не одинаковое.

В Ухте я больше сидеть не могу. Пытаюсь «придраться» к тому, что у меня в справке об освобождении нет оговорки об оставлении в Ухте до окончания войны. Хожу (изредка только удается попасть на попутную машину) за 25 километров в Ухту — центр Ухтижемлага — с «челобитными». Отказывают. Снова хожу, сдаться невозможно. Призываю на помощь Торопова, он обещает. Но вот в один из моих походов в Управление лагерей секретарша, уже хорошо знавшая меня, показывает мне письмо Торопова, в котором написано, что надо помочь Швед перевезти ребят в Ухту, но ни в коем случае не

отпускать совсем с работы. Как же я тогда на него рассердилась: «Ханжа старая, со мною слезы проливал, а отпускать не велит! Ну, обойдусь без его помощи».

И тут я решила попытаться использовать болезнь ушей. Пошла к врачу, пожаловалась на ухудшение слуха (это была правда) и сама продиктовала ему справку: «В связи с прогрессирующей глухотой нуждается в срочном лечении в городе, где имеются специальные отоларингологические лечебницы». Направили на комиссию при Центральном управлении лагерей. И ничего другого комиссия сделать не могла, как скопировать в своем постановлении ту же справку. Вопрос был решен. Оставалось получить только постоянный паспорт (хотя бы годичный) и получить вызов из Челябинска и Коканда, без чего тогда нельзя было получить пропуск на поезд.

Вызов из Челябинского облисполкома Ева, сестра Иосифа, прислала довольно скоро, а вот из Коканда вызова нет и нет. Я не знала еще тогда, что Шурик находится в детском доме. Администрация детских домов обычно охотно устраивала такие вызовы родителям, а вот сестра моя не сумела все сделать в срок. Дальнейшее ожидание вызова из Коканда могло привести к тому, что окажется недействительным вызов из Челябинска. Что делать? Отправляюсь в Ухту, в районную милицию, и прошу дать мне пропуск в Челябинск через Коканд (!). Большая географическая карта висит у инспектора милиции за спиной. Он долго ищет Коканд (моей помощи не просит), делает вид, что нашел (не срамиться же перед посетительницей), и пишет пропуск через Коканд в Челябинск! Пропуск действителен и на обратный проезд в Ухту. (Тут я должна заметить, что, хотя очень сердилась на Торопова, все же вняла его благоразумному совету и взяла пропуск на обратный проезд, опасаясь, что в другом месте мне не удастся устроиться на работу и придется вернуться в Ухту вместе с сыновьями. Он, между прочим, предлагал мне и денег на проезд, но от них я отказалась.)

Прежде чем расстаться с Ухтой, хочется рассказать об одном интересном экспонате «зверинца» Ухтижемлага.

Сестра знаменитой балерины Кшесинской — фаворитки Николая II. Не запомнила даже ее имя и фамилию, настолько все затмило слово «сестра». Сама она, очевидно по младости лет, при царе не успела стать никакой знаменитостью. В лагере выбрала себе должность конюха и отлично справлялась с нею. Должно быть, еще в детстве она пристрастилась к рысакам собственной конюшни, а может быть, и обучалась верховой езде.

Вид у этой еще молодой женщины был отталкивающий. Грубое, обветренное лицо, неряшливая одежда (измазанные в навозе брюки кое-как заправлены в брезентовые сапоги или в латаные-перелатаные валенки; бушлат перепоясан широким солдатским ремнем; из шапки-ушанки лезут клочья ваты...).

Жила она отдельно от нас, где-то возле конюшен. Говорили, что она умеет виртуозно использовать «матушек» в разговоре, и не только с конягами...

Зато, встречая нашу артистку-лингвистку Лизу Бржестовскую, она останавливала лошадей и, не вылезая из телеги, церемонно заводила салонный разговор на французском, немецком или английском языке! Благодаря «сестре» нам частенько доводилось хлебать вкусный кисель из овса, который она время от времени подбрасывала в наши «ясли». Исчезла она в первые дни войны, как и многие другие.

6 лет моей жизни без детей занимают в моей памяти большее место, чем остальные 60 лет. Правда, к 6 годам следует прибавить еще 2 года между арестом мужа и моим.

И как тут снова не вспомнить Блока: «Рожденные в года глухие, пути не помнят своего. Мы, дети страшных

лет России, забыть не в силах ничего». Забыть не можем, хотя со всех сторон слышали: «Забудьте, забудьте!»

И нельзя забывать того, что Сталин, бывший когда-то соратником Ленина, пользуясь неограниченным доверием народа к партии большевиков, превратился в тирана.

Помните и псов в образе людей, которые способны были без зазрения совести клеветать, шантажировать, вымогать любые самоубийственные показания, загонять людей в безвыходные тупики.

Помните, что окружавшие кучки псов миллионы и миллионы честных, порядочных людей не способны были противостоять им, связать их, изолировать, как изолируют взбесившуюся собаку.

Помните... Потому что никто не может дать вам гарантии, что безумие 37-года никогда не повторится.

Я пишу вам об этом в октябре 1971 года, зная, что народная молва готова простить Сталину все его прегрешения. Именно поэтому и считаю важным и необходимым рассказать о его преступлениях.

Народная молва...

Многие вообще ничего не знают или не верят рассказам о репрессиях, преследованиях честных коммунистов, простых честных людей. Другие знают и верят, но не придают значения таким «пустякам». Их близко не коснулось, значит, вообще ничего страшного не произошло.

А теперь кругом часто слышится: «Хрущеву ни дна ни покрышки, за то что он наклепал на Сталина» или «Лодыри у нас в ЖКО сидят, Сталин бы им показал!» и т. д. Имя Сталина еще и сейчас овеяно легендой для многих, и боюсь, что его преступления могут изгладиться из народной памяти. Этого быть не должно!

Қасым

АЗНАБАЕВ

«Все выдержал... и в народ свой верю»

Прокомментировала и подготовила воспоминания к печати Гузель Агишева — заместитель редактора башкирской республиканской молодежной газеты «Ленинец». Все примечания по тексту также принадлежат публикатору.

В отличие от большинства своих сверстников я рано уразумела понятие «37-й год». Мне были известны многие подробности тех дней как арестовывали учителей прямо во время уроков, как в двадцать четыре часа выселяли семьи с малолетними детьми, как исключали из комсомола студентов, осмелившихся помочь хотя бы в переезде «политически неблагонадежному», как «отстреливали» близких, даже — как все они ждали своего последнего часа...

Знала и то, что до 37-го были еще печальный 27-й, когда впервые появились в ходу ярлыки типа «националист», трагические 29-й — 32-й, когда в результате палочной коллективизации пострадали миллионы крестьянских семей. Позже — уже когда я стала журналистской — эти знания обрели большую определенность и глубину И особенно помогли мне в этом встречи с Қасымом Қутлубердичем Азнабаевым, ветераном партии, журналистом, редактором в 30-е годы республиканской газеты «Башкортостан».

Сейчас Қасыму Қутлубердичу 83 года. А первая встреча с ним произошла около двадцати лет назад. Его хорошо знал мой дед. Гуляя с дедом по уфимской улице Дорофеева, мы часто встречали Қасыма Қутлубердича. Он почти всегда замечал деда первым. А заметив, шел навстречу с какой-то особенной улыбкой открытой, доверчивой.

Два старика останавливались и долго увлеченно разговаривали А когда мы расходились, я видела краешком глаз, что наш знакомый оглядывался, вся так же улыбаясь, словно хотел нас удержать.

И вот спустя десятилетия впервые открываю деревянную калитку, мимо которой в детстве проходила тысячи раз.

Меня уже ждали. Дверь распахнулась, и старик, сухощавый,

при галстуке, в шерстяном джемпере и шерстяной же безрукавке, предстал передо мной.

Он уже улыбался. Но словами я его опередила

— Я вас знаю, и очень давно.

Он тихо засмеялся:

— Конечно, конечно.

И, проведя меня в комнату, в неторопливой паузе дав рассмотреть свое лицо, повторил·

– Давно-давно..

И так каждый раз, когда бы я ни появлялась, дверь была «наготове», и мой собеседник всегда представал расположенным к долгому разговору На четвертое или пятое посещение, прерываясь от рассказа, медленно поглаживая бледными ладонями свою седую голову, он вдруг сказал:

· Знаешь, я ведь тебя очень долго ждал. · И неторопливо скрестил руки на груди. Молчал. Губы еле заметно дрогнули · я думала, улыбнется. Но нет. Так он и сидел еще какое-то время со скрещенными на груди руками, смотрел отстраненно, через меня в распахнутый балконный проем, наверное, в свое прошлое...

Я сейчас жалею, что не вел дневников, но не потому, что чего-то забыл. Помнить-то все помню, а все-таки вот бы документ был... Частенько звонят знакомые и незнакомые, чаще научные работники: напишите! Знакомые — те откровеннее: *туда* хочешь унести? *Туда* не хотелось бы... Я и пробовал писать. Да разве всю жизнь опишешь?

Я вот все одному совпадению дивлюсь. Мой дед за участие в революционных выступлениях 1895 года был сослан на вечное поселение в Енисейскую губернию. Там он в 1914 году и умер... Меня тоже туда сослали. «На вечное поселение». Это уже после Отечественной войны, во вторую волну репрессий.

С первой империалистической отец вернулся революционно настроенным. Он мне часто говорил: «Ты все-таки счастливый. Твой дед за грамоту попал в Сибирь. Мне из-за этого учиться запретили, считая, что все беды от грамотности. А тебе надо и можно...»

После его возвращения, в 1918-м, жили с ним вдвоем. Брат умер в 16-м, сестра — в 17, мать — в 18-м. В нашем кантоне (округе) работали Даут Юлтый — военным комиссаром, Габидулла Кучаев — политкомиссаром. Под влиянием отца, его друзей я вступил в комсомол. Вскоре ребята избрали меня секретарем ячейки при продовольственном комиссариате. Я активно включился в организацию комсомольских организаций, а затем и частей особого назначения — ЧОН. Вели борьбу с контрреволюцией. Нам было по 14 лет, но винтовки уже доверяли.

1921—1922 годы. Страшный голод. Надо было засеять поля, организовать их охрану. Осенью 1921 года меня выдвинули в состав Ток-Чуранского канткома РКСМ. Здесь еще до меня работали Абдулла Амантаев и Сагит Агиш. Когда они уехали в Оренбург в БИНО — Башкирский институт народного образования, дела передали мне. В 15 лет я стал секретарем канткома комсомола. Мы договорились, что я приеду к ним на следующий год, как только найду себя замену...

В Оренбург я действительно попал на следующий год. Конечно же, благодаря Амантаеву и Агишу. Начал учиться.

В разное врѐмя от разных людей слышала я рассказ об Оренбургском караван-сарае, в котором располагался БИНО. Институт называли кузницей кадров молодой Башкирской республики.

Здание караван-сарая построено по просьбе башкир на народные сборы губернатором Перовским и считалось «национальным имуществом башкирского народа». В 1921 году здесь располагался Башюжрайпродкомиссариат для снабжения южных районов республики, а позже разместился БИНО...

У меня дома хранится фотография одного из выпусков этого института: юноши сидят, закинув ногу на ногу. Хромовые сапоги, начищенные до блеска, немигающий взгляд, напряженные лица. Редкими пятнами белеют миловидные стриженые девушки в светлых блузах. Такую же фотографию я видела у Касыма Кутлубердича. Многих людей с той фотографии уже нет в живых. В 37-м были истреблены почти все преподаватели БИНО, цвет национальной интеллигенции.

Историю и географию преподавал Фатих Карими. Он окончил Каирский университет. Литературу вел Шариф Камал, классик татарской литературы, член партии с 1919 года. Математику преподавал Сайфетдинов, тоже выпускник Каирского университета, физику — Ханафи Бакиров, тот учился в Бейруте, педагогику — Исхак Альмашев, прекрасный артист... Все они были авторами учебников, так что уровень преподавания был солидным.

Был среди нас Ахкямов. Чапаевец. Ходил в красных плюшевых галифе, белом кителе и с наганом. Если кто намекнет насчет его безграмотности, он хватается за наган. Был случай, когда наш завуч Сангатулла агай Бикбулатов не сдержался, упрекнул его. Тогда Ахкямов резонно заметил: «Я потому сюда и пришел, что мало знаю... Учите...» Преподавательница русского языка Мария Николаевна Стефанова, милейшая женщина, вообще предпочитала этого вооруженного поменьше спрашивать. К счастью, Мария Николаевна не была репрессирована, мой однокашник Исмагил Гафаров, ставший позже министром культуры Башкирии, принял деятельное участие в ее судьбе. Гафаров и Агиша вытащил из пропасти... Да, и тогда были люди, не потерявшие совести. А Сангатуллу Бикбулатова и директора БИНО Карима Идельгужина, впоследствии наркома просвещения, репрессировали...

Я теперь понимаю, как везло Азнабаеву на преподавателей вообще и в Академии коммунистического воспитания имени Крупской в частности, куда он был в 1930 году направлен Башкирским обкомом ВКП(б). Здесь перед студентами часто выступали с лекциями видные деятели партии Н. И. Бухарин, А. С. Бубнов, Я. Э. Рудзутак, М. И. Калинин, Н. К. Крупская, П. П. Постышев, А. В. Луначарский, М. Н. Покровский. Политэкономию читал известный экономист Давид Розенберг, автор комментариев к «Капиталу» Маркса. Розенберг часто ссылался на Н. А. Вознесенского, замечательного ученого, профессора Института красной профессуры, с которым он вместе работал и которого часто приглашал читать слушателям академии лекции. Н. А. Вознесенский, впоследствии академик, председатель Госплана СССР, написал большой труд «Военная экономика СССР в период Отечественной войны», за что получил Сталинскую премию

первой степени. В 1950 году Н. А. Вознесенский, проходивший по так называемому «ленинградскому делу», был расстрелян.

Парторганизация Академии насчитывала более двух тысяч членов, имеющих солидный партийный опыт. Многие студенты вели общественную работу. Я был пропагандистом на Московском электроламповом заводе. В 1932 году Московский областной комитет партии направил меня уполномоченным в Московскую область. Ситуация складывалась непростая. К 1930 году здесь рапортовали о 100-процентной коллективизации. Уничтожая кулачество как класс, обрушились и на многих середняков. Настроение в деревне было соответствующим. После выхода статьи Сталина «Головокружение от успехов» начался массовый выход из колхозов. Чтобы остановить этот процесс, нас и направляли в село.

Что представляла из себя тогдашняя подмосковная деревня? Мужчин практически нет — подались в город, на заработки. Туда же норовят уехать и свободные от семьи женщины. Требуют у председателя сельсовета документы: напиши, говорят, что мне, к примеру, не 27, а 21... И тот выдает эти фиктивные бумаги. Как же так, спрашиваю я председателя. Это же подлог! А ты посмотри, как они живут, отвечает. Им хочется найти работу, выйти замуж, вырваться отсюда!

Позже одна из тех девушек в Москве на улице остановила: «Спасибо, товарищ уполномоченный, что вы тогда не были против. Я теперь работаю на заводе».

После академии — назначение в Уфу, редакционно-издательская деятельность. В августе 1936 года были закончены перевод и редактирование «Вопросов ленинизма» Сталина. 50 печатных листов. Я тогда был заместителем председателя комиссии обкома партии по редактированию и изданию трудов классиков марксизма-ленинизма. К этому времени уже перевел на башкирский ленинские труды: «Государство и революция», «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», «Задачи Союзов мо-

лодежи», многие партийные документы... Так вот, А. Р. Исанчурин, второй секретарь обкома партии, он же председатель комиссии, послал меня в ЦК к Сталину, чтобы взять авторское разрешение. Я поехал. В Центральном Комитете зашел к Тулипову, завсектором национальной печати. «Что ты? — удивился он.— Разве такое возможно, мы сами Сталина не видим, знаем его только по портретам. Бессмысленная затея». Но все-таки направил меня к Талю, заведующему отделом печати, члену Оргбюро ЦК. Тот переадресовал к Орахелашвили — директору Института Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина (ИМЭЛСа).

Орахелашвили раньше работал первым секретарем Заккрайкома ВКП(б). Пришел к нему. Бородатый такой, красивый человек. Выслушал меня и спрашивает: «Грузинский знаешь?» — «Нет»,— говорю. «Как же,— спрашивает,— переводил?» — «С русского»,— отвечаю. А он уже на меня внимания не обращает. Звонит. Сталину звонит! И начинается разговор на грузинском — шумный, веселый. Я сижу и сам себе не верю. Надо же, думаю, в ЦК никто не смеет побеспокоить Сталина, а здесь вот так запросто. 48 минут говорили! Да-да, я засекал по часам. Потом Орахелашвили обращается ко мне: «Материалы оставьте мне. Я их отдам на рецензию». И я уехал.

Конечно, Ахмет Ресмухаметович Исанчурин был недоволен, что я не привез непосредственного разрешения. Зато Яков Борисович Быкин, первый секретарь Башкирского обкома партии — человек мягкий, интеллигентный,— сказал, что я сделал все от меня зависящее.

Разрешение пришло в декабре 1936-го. В два часа ночи ко мне домой позвонил Быкин, попросил приехать в обком. Показал телекс, поздравил.

А в июне 1937 года, тогда я уже работал редактором газеты «Башкортостан» (кстати, мне это потом в вину ставили: почему «Башкортостан»? Почему не Советский Башкортостан»? — хотя она так называлась и до

меня...), получаю материалы о вынесении смертного приговора врагам народа. Первым был назван Авель Енукидзе, секретарь Президиума ЦИК, вторым — Мамия Орахелашвили, третьей — Мария Орахелашвили, его жена, заместитель наркома просвещения РСФСР... Как по сердцу ударили: всплыл в памяти тот почти часовой веселый разговор двух друзей...

В Башкирии кампания по разоблачению «врагов народа» началась с Южураллеса. В начале 1937 года в Бирске, Стерлитамаке, Мелеузе, Архангельском и Нуримановском районах прошли открытые политпроцессы под лозунгом: «Нет пощады врагам народа!» Трудно передать и понять сейчас трудно, какая была тогда нагнетена атмосфера всеобщей подозрительности. Считалось, если ты кого-нибудь не разоблачил, значит, не борешься, а может, и сам... Меня все упрекали, что газета беззубая, плохо разоблачает «врагов». Просто многих из этих «врагов» я хорошо знал, с некоторыми раньше вместе работал, потому по возможности придерживал статьи о них, убирал фамилии...

Касым Кутлубердич дал мне зелененькую тетрадку, страница за страницей исписанную его четким, убористым почерком, попросил прочесть.

Вот о чем говорится в этой тетради.

«Выведем башкирскую литературу на широкую дорогу социалистического реализма» — так называется статья, напечатанная в журнале «Октябрь», органе Союза писателей БАССР (всю статью пересказывать не буду, она весьма солидная, как и подобает быть статье уважающих себя авторов, «открывающих глаза» народу, но чтобы донести до читателей ее тональность, несколько цитат приведу.—*Г. А.*).

«Благодаря помощи Центрального Комитета и лично товарища Сталина коммунисты Башкирии разоблачили примазавшихся к власти в республике троцкистско-бу-

харинских и буржуазно-националистических агентов и немецких шпионов.

Эти враги народа долгие годы вели подрывную деятельность в промышленности, в народном хозяйстве, на ниве культуры, и в частности в башкирской советской литературе.

В этой статье мы ставим целью как можно полнее вскрыть грязную, подрывную деятельность этих проклятых бандитов, проводимую ими в литературе.

Начнем с главного бандита, фашистского шпиона, буржуазного националиста Тагирова *. Он в течение ряда лет возглавлял Башкирскую писательскую организацию.

Тагиров и его свита со злым умыслом пытались держать писательскую организацию поодаль от задач социалистического строительства и священной борьбы.

За период своей «деятельности» Тагиров не только не написал хотя бы одно приличное произведение, но не составил даже одного грамотного предложения. Так, в одной из своих записок в тринадцати словах он сделал двадцать три ошибки. Весь его сценический хлам ставился в Башакадемдрамтеатре лишь благодаря его собутыльникам, врагам народа Муртазину** и Магадееву***.

Враг народа Юлтыев**** тоже ходил под маркой писателя. Сейчас нам известно, что этот аферист никогда не был писателем. Его хваленые стихи «Шинель», «На кожзаводе», «Сумка» и проч. из сборника «Танкисты», а также рассказ «Маленький Кутуш» — все это украдено у погибшего в гражданскую войну его земляка Закира Юлтыева. Пьеса «Карагул» тоже у кого-то украдена. Его пацифистский роман «Кровь», как выясни-

---

* Афзал Тагиров — председатель ЦИК БАССР.

** Муртазин-Иманский — основатель Башдрамтеатра, начальник управления по делам искусств.

*** Макарим Магадеев — театровед, главный режиссер Башдрам театра.

**** Даут Юлтыев — один из первых редакторов «Башкортостана». Писатель, драматург, член КПСС с 1919 года.

лось, всего лишь перелопаченный, перевранный роман Ремарка «На Западном фронте без перемен».

Юлтыев, будучи редактором журнала «Октябрь», предоставлял его площадь в аренду контрреволюционеру Суфиянову*, а тот тащил сюда злейших врагов нашего отечества — «писателей» белоэмигрантского толка.

Ставший председателем Союза писателей, Калимуллин** отстранил от работы честных писателей, проводил политику их высмеивания, грудью защищал своих идеологических друзей Давлетшина***, Ишемгулова, не принимая во внимание требования писателей вывести их из членства Союза писателей. Был еще некто, считавший себя «поэтом», морально нечистоплотный Булат Ишемгулов. За всю свою творческую жизнь он не написал ни одного путного стихотворения. В те времена редактором «Башкортостана» (газета «Башкирия», орган Башкирского обкома ВКП(б).— *I. A.*) был враг К. Азнабаев, который вычеркнул фамилию Калимуллина из разоблачительной статьи, переделывал его статьи, написанные против партии, пытался привнести в них хоть какой-то смысл...»

Страшные слова, дикие ярлыки. Но самое страшное даже не эти ярлыки. Самое ужасное — подписи. Неужели?.. Остается лишь покачать головой. Уважаемые люди. Уже нет в живых. Я знаю дочерей одного из них. Знают ли, мучаются ли прошлым отцов? Или, как когда-то объяснил Сталин, сын (дочь) за отца не отвечает?

В связи с этим позволю небольшое отступление.

1935 год можно считать годом расцвета республики. За успехи в промышленности, сельском хозяйстве и культуре Башкирия была награждена орденом Ленина. Выс-

---

* Сабит Суфиянов сотрудник башкирского журнала «Хенек» («Вилы»), был репрессирован, реабилитирован в 1956 году.

** Тухват Калимуллин · лит псевдоним Тухват Янаби, писатель, член КПСС с 1919 года.

*** Губай Давлетшин - нарком просвещения БАССР, писатель, член КПСС с 1917 года

шую награду страны получили и руководители республики: первый секретарь обкома ВКП(б) Я. Быкин и председатель Совнаркома БАССР З. Булашев. Но потом именно этот год органы НКВД посчитали началом контрреволюционной деятельности в Башкирии.

В том же, 1935 году состоялся II Всесоюзный съезд колхозников-ударников, а перед ним было организовано совещание передовых комбайнеров и комбайнерок СССР с членами ЦК ВКП(б) и правительства. Однако среди ударников — участников совещания не было комбайнера А. Г. Тильбы из Давлеканово Башкирской АССР, который добился тогда самой высокой выработки в стране. Дело в том, что Тильба был сыном кулака. Все ж, видимо, сочли нужным пригласить хлебороба, и Тильбу срочно в последнюю минуту доставляют в столицу. Вот как детально выглядело его выступление, опубликованное в газете «Красная Башкирия» в декабре 1935 года:

«Я сын кулака. Отец мой раскулачен в 1930 году и выслан. В нынешнем году я убрал 567 га (аплодисменты), заработал я 2704 рубля (аплодисменты), сэкономил горючего 1049 кг.

Хотя местная власть не послала меня в Москву как делегата, но товарищ Яковлев*, спасибо ему, вызвал меня, как лучшего комбайнера. Хотя я и сын кулака, но я буду честно бороться за дело рабочих и крестьян и за построение социализма (аплодисменты)».

Сталин: «Сын за отца не отвечает».

Инициатива написания этой статьи вряд ли принадлежит самим писателям. Их «попросили» — они сделали, это соцзаказ, не выполнить который тогда было смертельно опасно. Посмотрите дату — январь 1938-го. Меня как раз взяли в январе.

Конечно, искусственность этих процессов была очевидна, хотя они и организовывались якобы «по требованию народа». Председателю Башглавсуда Кутлуярову по-

* Яковлев Я. А.— зав. сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б)

ручили «дело Бирска». Естественно, «дела» никакого не было, и он, нарушив негласное распоряжение, по которому троим нужно было вынести смертный приговор, а остальных приговорить к 25 годам, дал обвиняемым по 10 лет. Его вызвали, спросили: «Почему не выполнили указания?» Затем исключили из партии, арестовали, прицепили ярлык «колчаковец», хотя он воевал против Колчака. Кутлуяров вышел из лагерей уже после XX съезда партии, недолго прожил.

В августе 1937 года арестовали артиста Магадеева и начальника управления по делам искусств Муртазина-Иманского. Последнего путали с военачальником Мусой Муртазиным *, называли «Палачом». А он и винтовки-то сроду в руках не держал. Но объявлен «врагом народа», значит, должен получить по заслугам и сполна. Как и те, другие, «пытавшиеся пошатнуть устои партии, советского государства». Халиков, Мухаметкулов, Булашев, председатель совнаркома Айдаров, Биишев, Касымов, Гисматуллин, Идельгужин, Абубакиров, Давлетшин, Абзбаев — все они в разное время, с 1924-го по 1937-й, работали наркомами просвещения. Далее Асхадуллин — наркомзем, Ишмухаметов — наркомздрав, Ягудин — нарком легкой промышленности, Даутов — зампред Совнаркома и председатель госплана, Юмакаев и Хисаметдинов — наркомы финансов, Айбулатов — председатель госбанка. Из писателей: Афзал Тагиров, Даут Юлтый, Хабибулла Габитов, Хадия Давлетшина, Булат Ишемгулов, Абдулла Амантаев, Имай Насыри, Тухват Янаби...

Печально известному (октябрьский 1937 года) пленуму Башкирского обкома ВКП(б) предшествовали 17-я Башкирская областная партконференция (июнь 1937) и пленум Уфимского городского комитета ВКП(б) (сентябрь 1937), а также «разоблачительные» статьи

* Муса Муртазин — комдив Красной Армии, работал в Москве, в 1937-м расстрелян, в 1956-м реабилитирован.

в «Правде» и «Известиях», где уже были сформулированы все основные пункты обвинений. Приведу выдержки из статьи Л. Перевозкина «Кучка буржуазных националистов в Башкирии», опубликованной 17 сентября в «Правде».

«Кучка буржуазных националистов в Башкирии не раз открыто поднимала на щит Валидова — одного из лидеров басмачей, предателя Родины. А Башкирский обком партии, его секретари Быкин и Исанчурин не только не разоблачали активных валидовцев, но даже опирались на них. Многочисленные сигналы рабочих и колхозников о преступлениях националистов обком систематически глушил (Быкин и Исанчурин действительно вели политику сдерживания «разоблачительных» кампаний с «врагами народа».—*Г. А.*).

...Научно-исследовательский институт национальной культуры и языка — в руках валидовцев. Во главе этого института стоял Амантаев, апологет буржуазно-националистической истории литературы. В книгах о языке под его редакцией дана фашистская расовая теория, проповедуется идеология пантюркизма. Покровитель Амантаева — секретарь обкома Исанчурин помог националисту сохранить партбилет.

...Злейшие враги партии и народа находили защиту у Быкина. Он покрывал врага Гришкана, которого привез с собой из Ярославля. Он послал его секретарем Белорецкого райкома. Он покрывал «импортированного» с Украины троцкиста Дубенского, которого держал при себе в качестве помощника».

В «Красной Башкирии» был опубликован подробный отчет о пленуме Уфимского горкома партии, приведем и оттуда цитату: «С резкой, но вполне заслуженной критикой секретарей обкома и персонально Быкина выступил коммунист Коршунов. Он сказал: «Когда-то давно «семья» была из 3-х лиц: Быкин, Крущанская (жена) и троцкист Гришкан. Проходит время, в «семье» — прибыль, появился троцкист Дубенский. Стало 4. Проходит

еще время, появляется троцкист Ольбинский. «Семья» растет. Появляется Марнянский. Стало 6».

А вот непосредственно «глас народа»:

«...С чувством огромного удовлетворения встретили допризывники 1915—1916 годов рождения, обучающиеся на уфимском городском военно-учебном пункте, известие о приговоре Верховного суда над бандитской шайкой шпионов: Тухачевским, Эйдеманом, Уборевичем, Корком и др. псами, находившимися на службе у иностранной военной контрразведки». Статья называется «Собакам — собачья смерть». Приведу характерные заголовки газетных статей одного лишь номера «Красной Башкирии» за 14 июня 1937 года: «За шпионаж и измену родине — расстрел!», «Нет пощады фашистским шпионам», «Смерть врагам социализма», «Митинги гнева и возмущения», «Приговор выражает волю всего советского народа», «Враги просчитались!», «Шпионам нет места на нашей земле!», «Еще теснее ряды вокруг великого Сталина» и т. д.

Каннибализм становится нормой. Так что почва для расправы с руководителями Башкирской областной парторганизации, советскими и хозяйственными деятелями республики была подготовлена!

Вот и я, как член Башкирского обкома ВКП(б), получил извещение, что 3 октября 1937 года в 10 часов утра состоится пленум, который рассмотрит состояние дел в Башкирской парторганизации. Из дома вышел в 9 часов — жил тогда на улице Карла Маркса, 20. Иду не спеша, сворачиваю на улицу Пушкина. Там полно сотрудников НКВД. Тут подбегает одна актриса, хватает за руку: «Кто приехал? Говорят, Сталин». Я отмахнулся: «Не знаю». Решил, что это провокация. Вошел в здание обкома — везде работники НКВД. Вчитываются, сверяют... Потом объявляют, что пленум будет завтра. Прошел уже слух: приехал Жданов и со своей канцелярией живет в спецвагоне на вокзале.

Ночью арестовали все бюро обкома и многих членов обкома, секретарей райкомов партии.

4 октября. Утро. На улице еще больше сотрудников НКВД. Вхожу в зал, и меня охватывает странное чувство: из более чем семидесяти членов обкома насчитываю двенадцать... Но зал, на удивление, полон, лица все незнакомые.

Открывается дверь, и в зал входят секретарь ЦК ВКП(б) Жданов, Медведев — новый руководитель НКВД республики, Заликин — будущий первый секретарь обкома партии. Жданов предлагает открыть пленум. Быкин из зала бросает реплику, что пленумом это назвать нельзя, поскольку нет членов бюро и многих членов обкома. Жданов настроен агрессивно. Он игнорирует замечание Быкина. Сам назначает президиум и сам открывает пленум. Заметьте: с Быкина никто еще не слагал обязанностей первого секретаря Башкирского обкома ВКП(б). Стенографистов нет. Протокол пленума ведем мы — редакторы республиканских партийных газет, я и Мартовский.

Жданов дает слово Быкину, но через 10 минут прерывает его: «Вы лучше расскажите о своей вредительской деятельности...»

Затем Жданов прочитал протокол допроса ранее арестованных — заведующего отделом промышленности Марнянского и заместителя председателя госплана Дубенского: в Башкирской парторганизации якобы существовали две контрреволюционные организации — троцкистско-бухаринская под руководством Быкина и буржуазно-националистическая, которую возглавлял Исанчурин. Быкин с Исанчуриным создали-де политический блок.

Быкин ответил резко:

«Это ложь! Клевета! Пусть те, кто бросили мне такое обвинение, скажут прямо в глаза. Здесь!»

«Вы сами рассказывайте и ведите себя пристойно, не то вас выведут из зала»,— ответил Жданов.

«Членом партии я стал раньше вас, товарищ Жданов. В 1912-м».

«Знаю, какой вы деятельностью занимались — шпионили»,— почти выкрикнул Жданов.

Вот так начал работу пленум обкома партии.

Конец второго дня. Встает из зала некто Галеев, инспектор рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) Кировского района, и говорит:

«Товарищ Жданов! А вы знаете, кто сидит рядом с вами? Азнабаев — он же близкий друг врагов. Он дал положительную характеристику шпиону, националисту Мухтару Баимову, который с августа сидит в тюрьме»,— и протягивает Жданову листок. Тот прочитал и грозно посмотрел на меня.

Надо сказать, до этого Жданов довольно благожелательно обходился со мной: он часто курил, когда папиросы кончались, «стрелял» у меня; правда, в буфете было полно «Явы», но он, очевидно, там брать опасался — не отравлены ли? В общем, оказывал знаки внимания: посмотрит отечески, ну, дескать, давай трудись. Даже во время перекура сказал, вот, мол, нужно выдвигать молодых, таких, как ты. А тут стал грозным. От ведения протокола отстранил и велел пересесть в зал...

Мухтар Баимов. Ученый. Прекрасный человек. Талантливый переводчик, перевел «Медного всадника», «Поднятую целину». Учился в аспирантуре Ленинградского института восточных языков. На практику Мухтар Баимов ездил в Турцию. Ему это потом вышло боком: сказали, что там встречался с... главным буржуазным националистом Валидовым. Исключили из партии — это было еще в 1936 году. Взялся он доказывать свою честь, а чтобы подать на апелляцию, нужна характеристика, подписанная двумя коммунистами. Он пришел ко мне: я, говорит, тут уже набросал. Ты не думай — никакой похвальбы нет. Просто констатация... для того, чтоб только приняли. Я прочитал. Действительно, нейтральная характеристика. Но я ему отказал: «Мухтар, не тащи меня за собой...»

Баимов во второй раз пришел ко мне уже вместе с писателем Булатом Ишемгуловым. Булат ругал меня, стыдил, сам-то он уже поставил свою подпись. Подписал и я. Вот эту характеристику Галеев и передал Жданову.

Третий день пленума. Быкин и Исанчурин выведены из состава бюро обкома, исключены из партии, как «двурушники и предатели партии и народа».

Исанчурин сдал свой билет молча, а Быкин просил Жданова передать Сталину: виновным себя не признает, всегда был и остается честным коммунистом. Но Жданов отворачивается, морщится, слушать не желает. А когда их увели из зала, Жданов сказал короткую речь: вот, мол, теперь можно вздохнуть с облегчением, хотя это лишь начало. Как он выразился, «пока сняли лишь головку». Произнес еще одну фразу, поразившую меня: «Столбы подрублены, заборы повалятся сами...»

Потом избрали секретаря А. Т. Заликина и новый состав бюро: Шагимарданова, Медведева, Митина и Нургалеева...

12 декабря 1937 года предстояли выборы в Верховный Совет СССР 1-го созыва. По Уфимскому избирательному округу баллотировался в Верховный Совет зампред Совнаркома СССР и председатель Госплана СССР В. И. Межлаук. Доверенные лица два месяца агитировали за него. Знакомили избирателей с его биографией. 8 декабря Валерий Иванович должен был приехать в Уфу на встречу с избирателями. И вдруг: «Межлаук — враг народа!» Срочно начали «агитацию» за челюскинца Э. Т. Кренкеля. А до выборов три дня.

Естественно, многие избиратели выражали сомнения насчет новоявленной кандидатуры: не окажется ли и он врагом? Это довольно дорого им обошлось. Об этом свидетельствуют рассказы очевидцев. Мне в тюрьме часто приходилось слышать: «За что сидишь?» — «За Межлаука...»

Однажды заведующий отделом пропаганды и агитации Некипелов говорит: «Пойдем, я тебе кое-что дам по-

читать...» Пришли в его кабинет. Он вынимает пачку бумаг, протягивает мне. Я прочитал — в глазах потемнело. Некипелов все разорвал на моих глазах, потом говорит: «Но вряд ли они пишут в одном экземпляре...»

Я понял: меня «готовят».

Как-то Заликин в разговоре со мной предложил временно перейти на другую работу, в Сталинский райком партии. А то, мол, жалоб на меня много. Это уже кое о чем говорило. Политика была известна. Фахраза Нургалеева, завсельхозотделом обкома, тоже назначили на другую должность... И пока он спускался со второго этажа на первый, арестовали... То же самое проделали с другим работником обкома партии — Ахметом Хадисовым, его назначили заведующим районо в Давлеканово...

Арестовывали в театрах, гостях, пытаясь, видимо, продемонстрировать особую бдительность и оперативность.

10 января я пошел в драматический театр. Была премьера. Сидел рядом с Медведевым в правительственной ложе... Помнится, мы с ним даже разговаривали...

Они пришли в два часа ночи. Не предъявили никаких документов, никакого ордера. Сделали обыск, отобрали коровинский пистолет, сборник докладов на I съезде Союза писателей, где были помещены выступления Бухарина, Радека, книгу Газима Касымова «Султангалеевщина». Привели в тюрьму, что на улице Гоголя. Народу тьма. Сначала — в баню, которая на самом деле оказалась холодным душем.

Вещи — на «жарилку»: свалили все в одну кучу, потом каждый из этой кучи выволакивал свое. В одном из тюремных корпусов — так называемом корабле — было 84 одиночных камеры, так туда натолкали по 15 человек. А меня поместили в одиночный карцер. В первый день не кормили. Холод, вода капает, несет от параши...

На другой день вечером перевели в камеру. Четверо

бородатых ее обитателей пытались со мной заговорить. Отмалчивался. Тогда они сами начали представляться. Один сидит за бандитизм, другой — примерно за то же, вор-рецидивист, третий — шпион. Ну, думаю, компания... Через некоторое время невольно стал прислушиваться к их речи — грамотная, культурная. А один вскоре начал прекрасно пересказывать Стефана Цвейга. Потом и говорит:

«Не тужи. Моя фамилия Захаров. Я член партии с 1918 года, бывший командир дивизии, был заведующим Ишимбайским нефтепромыслом».

Второй — Вознесенский, член партии с 1919 года, председатель ЦК профсоюза нефтяников. Третий — армянин, Маркарьян, начальник центральной научно-исследовательской лаборатории по нефти. Четвертый — геофизик, фамилии не помню. Нас, рассказывают, взяли из Ишимбая — 25 «нефтяников-вредителей». Осталось в живых четверо: дали по 10 лет. Остальных приговорили к расстрелу. Все выдержали, протокола допроса не подписали. И ты, говорят, не подписывай, пересиль себя

Началось следствие. Вы, говорит следователь, арестованы, как участник контрреволюционной националистической организации. Занимались вредительской деятельностью в печати. Признаете себя виновным? Нет, отвечаю. На другой день следователь, малограмотный такой, меня поразил. Сидит и при мне «сдирает» из изъятой книги «Султангалеевщина» целые куски, только фамилии подставляет местные. Ну просто блестящее получилось обвинение! С 1930 года, оказывается, я состою в этой организации. «Что же вы меня пантюркистом сделали? — спрашиваю.— Вы же говорите, что я башкирский националист?» Он сам-то разницы не чувствует, только твердит: «Подпиши».

Другой следователь, Хасанов, утверждает: «Вы вели националистическую работу — вместе с Амантаевым собирали фольклор. В книгах часто при переводе использовали арабские термины из Корана...»

Но был и грамотный — Соснов, некогда преподаватель истории партии. Целую ночь держал в подвале, а сам писал. Примерно так все это выглядело: вы арестованы, как участник контрреволюционной националистической организации, существовавшей в Башкирии с 1930 года. Признаете ли себя виновным? Тут же сам написал ответ: да, я действительно состоял и входил в ее руководящий центр. Далее вопрос: какова ваша практическая деятельность? кого еще завербовали? Ответ: с 1930 года я вел активную контрреволюционную деятельность, направленную на отрыв Башкирии от СССР и образование буржуазной республики под протекторатом Германии и Японии. Нет, говорю, я это не подпишу. Он свое: «Подпиши!» Держал пять суток голодом. Потом конвейерный допрос — «игра в мяч», швыряют из стороны в сторону. Подпиши! У меня стали возникать галлюцинации: будто стена падает, а у следователя появляется звериная голова, хвост. Вдруг почему-то приходит сестра с передачей: первое, второе, колбаса... Потом «заходит» кто-то из знакомых, вроде Янаби. Ты, говорит, подпиши, не мучайся.

Они бы каждый день мучили, но «врагов» слишком много... Наконец меня повезли на Коммунистическую, в главное здание республиканского НКВД. Начальник отдела Миерович, предупредительный такой... Тебя же, говорит, Быкин с Исанчуриным обманули. Ты молодой, поддался по неопытности. Дал мне газеты — читай, отдыхай. А потом подпишешь протокол, и мы тебя отпустим. И вышел. Вскоре вернулся. «Ну что, сам будешь писать?» Сам, отвечаю. Окно выходило прямо на улицу. Я понял, что нужно тянуть время до утра, пока люди на работу не пойдут. Сижу, описываю на латыни всю свою жизнь. Он только время от времени заходит справиться: «Пишешь?»

Утром увидел мою писанину — вышел из себя. Отправили в «холодный» карцер. Оттуда — в больницу.

А между тем уже прошел год. Наконец-то назначили

день суда. Обвинения те же, и доказательства не изменились, мол, свидетельствует Исанчурин. Одно из обвинений состояло в том, что при переводе книги Сталина «Вопросы ленинизма» я-де умышленно ввел много арабских терминов. Попросил сделать экспертизу. Суд прервали.

Второй суд назначили лишь в 1939-м году. Тут всплыла фигура Аминева, редактора республиканской молодежной газеты. Было же «дело» комсомольцев, в результате которого комсомольцы, подписав все, что от них требовали, схлопотали себе по 10 лет. Показав на Тимиргалину (она — детдомовка, работала у нас в республике секретарем обкома ВЛКСМ, а позже секретарем ЦК ВЛКСМ) как на человека, завербовавшего их в буржуазную националистическую организацию, подвели ее под расстрел. Так вот этот Аминев в своих признаниях написал, что его «завербовал» и Азнабаев. С другой стороны, «признание» Исанчурина. Я попросил вызвать Исанчурина. Фарс, конечно. Я-то знаю, что его давно нет в живых. Суд отклонил просьбу. Я объявил голодовку. Они пытались еще морализировать: это же советский суд! Ты что, против него?..

Голодовка — это совсем нетрудно. Вернее, трудно только первые два дня...

Однажды был такой случай. Допрашивал меня както новый следователь, возможно, он просто заменял... Когда его коллеги со своими «подшефными» покинули камеры, а это все происходило в подвале, он тоже прекратил допрос. Вышел. Я сижу, жду. Появляется со стаканом сметаны и батоном, ставит все это на стол, а сам опять уходит. Ну, думаю, есть собирается. Я — голодный. Короче, пока он отлучался, я быстро все это съел. Он заходит и говорит: «Зря ты торопился, я это тебе принес. Я, говорит, не верю в то, что ты националист, враг. Показал папку, мое «дело». Тихо заметил, что в ней никаких материалов нет. Предупредил: «Смотри, не оговори себя». Меня-то пугали: вот, мол, какое

пухлое у тебя «дело». А там, оказывается, одни чистые листки бумаги.

Потом, многие годы спустя, сестра рассказывала: однажды вечером пришел военный и предложил передать мне посылку. Пусть придут на следующий день, позвонят по такому-то телефону, он даст разрешение на передачу. Не знаю — он ли это был. Но посылку, помнится, я действительно получал...

2 года и 8 месяцев я был под следствием. Суд так и не состоялся. «Дело» направили в Москву, его рассматривало особое совещание НКВД СССР. Постановление: подвергнуть лишению свободы сроком на 5 лет за КРНД, то есть — за контрреволюционную националистическую деятельность.

Отправили этапом сначала в Челябинскую тюрьму, потом в Свердловскую. Затем лагерь в Туринске Свердловской области. Наконец окончательное место назначения — Восточноуральский лагерь (ВОСТУРАЛЛАГ) в Верхне-Тавдинском районе все той же Свердловской области.

Лагерь есть лагерь. Такое второй раз пережить уже нельзя, во всяком случае, в сознании. А вообще-то человек и сам не знает, сколько он способен вынести. Но, как говорили, кажется, иезуиты, не дай, господи, испытать все то, что может выдержать человек. Лагерь большой, вмещал около 60 тысяч человек.

Работали на лесоповале по 14—16 часов. В 5 утра подъем, долгая перекличка, и под конвоем гуськом идем 3—4 километра до лесосеки. Норма на человека 18 физметров, то есть 24 кубометра древесины. Выполнить эту норму невозможно, поэтому нам, как не выполнившим ее, полагалось только 200 граммов хлеба. С голодухи и непомерного труда за полмесяца из бригады в 31 человек уцелело трое, в том числе я. Ведь как дело обстояло? Для конвоиров мы — преступники, потому вольности

по отношению к нам допускались неограниченные. Шаг вправо, шаг влево от колонны расценивались как попытка к бегству. Конвой применял оружие без предупреждения. Нагнулся за земляникой или попробовал закурить — тоже получай. Как правило, бригадиром назначался «урка» — уголовник. Мы — «враги народа», а уголовники — «друзья»...

А события 1941 года хотя и с опозданием, но доходили до нас. 22 июня многие обиды перечеркнуло.

Коммунисты стали проситься на фронт. Им, конечно, отказывали. Они были «недостойны воевать за освобождение Родины». Все логично — «врагам народа» доверять оружие нельзя. И все же была какая-то связь между победами и поражениями на фронте и нашим содержанием. Ближе фашисты — лучше обращение с нами, враг бежит — начинают измываться над заключенными. Действовал весьма темный механизм человеческого сознания — попытка обезопасить себя на тот случай, если фашисты освободят нас и примут, как идеологических друзей. Это вдвойне обидно... Вообще, было время поразмышлять... Помните, у Пастернака:

Душа моя, печальница
О всех в кругу моем,
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем.

Ты в наше время шкурное
За совесть и за страх
Стоишь могильной урною,
Покоящей их прах.

Но люди старались не ронять своего человеческого достоинства. Без них, таких людей, я бы этих пяти лет не выдержал.

Как-то не смог дойти до бараков метров 200. Подходит конвойный, хотел пристрелить, а второй говорит, давай, мол, дотащим до вахты...

Там уж многие мертвые лежат. Дотащили — бросили.

Утром какое-то движение началось, люди в белых халатах ходят, суетятся. Среди них я узнал свою землячку, Надежду Савельевну Ярыгину. Она — кандидат медицинских наук, жена расстрелянного, как «врага народа», секретаря Воронежского обкома партии. По сути, она за него отбывала срок в качестве ЧСИР (аббревиатура, достойная сталинского времени: член семьи изменника родины).

Вот я за Надежду Савельевну и ухватился как за соломинку. Она вызвала санитарок, велела отнести меня в изолятор. Подержала там несколько дней. Потом отправила в сангородок. За месяц я поправился.

Однажды она говорит мне: «Больше держать не могу, ты и так уже подозрительно хорошо выглядишь». Направила в хирургическое отделение к Варваре Ивановне Топадзе, она тоже ЧСИР. Пришел, поясняю, мол, Ярыгина направила. Она мне: «Посидите». Когда в коридоре никого уже не осталось — приглашает. Сними рубашку — давай руку. Зачем, спрашиваю. Здесь, говорит, лишних вопросов задавать не принято. Взяла скальпель и сделала порез предплечья. Потом густо развела марганцовку и замазала — рана стала иметь устрашающий вид. На всю жизнь, сказала, отметина останется.

Да, сегодня эта метка может напомнить о многом. Я могу еще долго и подробно рассказывать о своей больничной эпопее. Как перевели из одного отделения в другое, где вдруг опять оказалась ...Надежда Савельевна Ярыгина — ее лишь несколько дней назад тоже перевели, и именно в это отделение. Как Варвара Ивановна подкармливала продуктами, что присылали ей родственники.

Везде были порядочные люди. Правда, как правило, это были те, кто примерил чужое горе на себя. И цена их риска от этого только повышалась.

Нагрянула как-то в наше отделение комиссия. Собственно, к нам она никакого касательства не имела. У них там картотека, все написано. Но почему-то меня

и моего напарника по пиле Диденко, он с Украины, был заведующим промышленным отделом то ли обкома, то ли горкома партии, вызвали к начальнику политотдела Гуляеву. Тот спросил, кем работал на воле. Редактором республиканской газеты, отвечаю. «Значит, считать умеешь?» Странный вроде бы вопрос. Но реагировать в моем положении на подобные странности не приходилось. «Счетоводом продстола справишься?» — «Справлюсь».

А Диденко сделали нормировщиком.

Что такое счетовод или нормировщик? Пустяк? Нет, это, по сути, жизнь. Возможность остаться в живых. Я уж не помню, как мы тогда расстались с Гуляевым, мы его, кажется, даже не поблагодарили.

Освободили меня из лагеря. Стал вольнонаемным. Работал мастером-нормировщиком в Азанковском отделении на лесобирже. Жил с семьей отдельно, в квартире. Часто встречался с Гуляевым. Он посоветовал мне писать в многотиражку, «чтоб завоевать политическое доверие». И кое-что тогда он о себе рассказал.

Работал он в аппарате Свердловского горкома партии. В 1933 году после выговора по партийной линии «направили» сюда директором леспромхоза, который в 1937-м преобразовали в лагерь. Эта полуссылка, по сути, спасла ему жизнь; если б его тогда не сняли, в 1937 году Гуляева постигла бы участь преемников.

Вспоминаю еще интересных людей. Один называл себя профессором. Оказывается, в самом деле академик. Академик Некрасов — отец аэронавтики. Почему-то запомнилось, как он ел. Красиво, я бы сказал, величественно. Разделит 200 граммов хлеба на три части. Каждый кусочек — на салфетку, посолит. И медленно, смакуя, ест. Я, говорит, даже на банкетах у Рузвельта такого вкусного хлеба не едал... Он сидел, правда, мало, как война началась, его освободили.

В 1946 году всем тем, кто проживал без права выезда, разрешили поехать либо в небольшие города, где

нет крупной промышленности и специального режима, либо в села. Я выбрал деревню Черниковка Уфимского района. Разрешили. Выдали документ, «вид на жительство»... Видимо, еще не знали, что Черниковка стала «режимным» городом Черниковском.

Приехали мы с женой Екатериной Ивановной и сыном Олегом с этим документом в Уфу. Пошли с сыном на базар, встали в очередь за хлебом. По дороге встретили знакомых. Бдительные оказались знакомые. Вечером приходит милиционер: уезжайте! Я — на вокзал, сел в первый попавшийся поезд, доехал до Чишмы и ночью вернулся в Уфу. Вроде как перешел на нелегальное положение.

Был у меня знакомый, начальник лесснаба Чикреев. Никогда ничем я ему не помогал, а он встретил меня как-то на улице, позвал к себе. Это ведь тоже тогда многое значило. Большинство знакомых предпочитало меня не узнавать. А он принял самое деятельное участие в моей судьбе. В конце концов оказался я в Стерлитамаке. И там нашлись люди. Причем я их не искал Честно говоря, боялся своего «волчьего билета». Даже когда по улице ходил, держал под головным убором рублевки: если милиционер поинтересуется, где документы, я ему — «штраф».

Стал преподавать в учительском институте. Очень хорошо, много и с удовольствием работал, хотя рисковал, конечно. Но главное, рисковали люди, мои бывшие ученики, устроившие меня на работу...

В институте кроме студентов-очников обучались заочно партийные работники и работники МГБ. Экзамены, зачеты я принимал даже, пожалуй, излишне мягко, «выступать» права не имел. Может, кто-то чего-то почуял — были случаи, когда некоторые студенты из МГБ довольно беззастенчиво клали мне зачетку на подпись, не отвечая на зачете или экзамене.

Однажды решил рискнуть: подписав зачетку, вложил в нее свой «волчий билет». Мой «студент», работник

МГБ Мансапов, внешне не выразил удивления, молча встал и ушел. Проходит день, другой — я стал нервничать. Вдруг ночью звонок. Приходит посыльный в форме, протягивает пакет. Я вскрываю пакет и достаю... новенький паспорт! Какой это был паспорт! И все штампы на месте!

Утром звонит мой спаситель. Получил пакет? Теперь можешь жить даже в Москве.

Но судьба распорядилась по-своему. В 1949-м арестовали во второй раз. Нужно, видимо, было кому-то спрятать концы в воду, то есть убрать тех людей, что остались в живых после первой волны репрессий. Логика проста: националистом был, националистом и остался, то есть инкриминировалось все то же преступление...

На этот раз два работника МГБ, придя с обыском, показали документы, удостоверения, ордер на арест... Все правильно! После обыска, уже в 2 часа ночи, привели в горотдел МГБ. Сидели со мной, охраняли.

Вдруг дверь открывается, входит мой «студент» Мансапов. Тех двоих выгнал. Вижу — нервничает.

— Ты, конечно, думаешь на меня? — начинает он разговор.— Не надо. Это команда свыше.— Показывает телеграмму.

Молчу. Он ходит по кабинету.

— Лагерь я второй раз не выдержу,— после долгого молчания произношу я.

— Нет,— отвечает он.— Не лагерь. Вечное поселение... И потом, поверь, все-таки времена меняются...

Утром двое сопровождающих в штатском, корректные, воспитанные люди, повезли в Уфу. Вагон купейный, вроде бы я и не арестованный. А в соседнем купе едет директор учительского института, в котором я преподавал. Директор возмущается:

— До чего человек распоясался. Никакой дисциплины. Завтра у него лекция, а он накануне едет в Уфу...

Когда понял, в чем дело, его как ветром сдуло.

Через некоторое время стук — подходит сопровождающий, открывает дверь. Стоит Валитов, мой бывший ученик, директор школы-интерната имени Ленина, спрашивает: «Можно поговорить с Азнабаевым?» Те: «Пожалуйста».— «По-башкирски можно?» — «Говорите».— «А денег можно дать?» — «Воля ваша, хотите — давайте». И он все деньги, что у него были с собой, отдал мне...

А жена моя, оказывается, ждала на вокзале возле «столыпинского» вагона, хотела сказать, чтоб я не беспокоился и что они приедут, как только получат адрес.

Олегу тогда было 5 лет, Земфире — 11 месяцев.

В Уфе меня сдали в комендатуру МГБ. С 23 апреля по 5 августа сидел в тюрьме. Часто допрашивали, хотя чисто формально. Следователи не скрывали, что эти допросы ничего изменить не могут, все равно отправят на вечное поселение. А в начале августа следователь объявил постановление особого совещания МГБ СССР от 25 июня 1949 года: «Азнабаева Касыма Кутлубердича за принадлежность к контрреволюционной организации сослать на вечное поселение в Красноярский край».

Этапом отправили в Красноярск. Ехали долго, почти две недели. Из Красноярска катером по Енисею доставили до пристани Придивная, а оттуда автобусом в село Россейка, прямо в совхозный клуб. В клубе по стенам развешан инвентарь: топоры, лопаты, вилы... «Разбирайте,— говорит начальник,— и привыкните к мысли: здесь вы будете жить, работать и здесь умрете».

Я быстро выбираю инструмент. А один профессор, лет 65, все колеблется, не может выбрать. Тогда начальник обращается к нему: «Вам помочь?» Снимает толстый тяжелый лом и подает: «Вот вам, профессор, карандашик!»

Меня и еще человек десять, учитывая высшее образование, определили в отделение совхоза, которое состояло из пустого барака, заброшенного жилого дома и землянки. Работа была не трудной: убирали картофель, морковь, косили горох...

Это, конечно, не лагерь. Только вот мошка! Люди намазывались толстым слоем дегтя — одни глаза блестели. Ходили, как арапы.

Нас предупредили: выход из условной зоны равносилен побегу — получите 25 лет каторги. Но голод не тетка, и мы ходили воровать картошку. Снабжение было очень плохое, и к тому же вода находилась в шести километрах. Ее нам возили два бывших попа. Черный и белый. Так мы их звали. Один московский — смуглый. А рязанский — совсем беленький. С московским я дружил. Выяснилось, он родился у нас в Башкирии, в Стерлитамаке. Его освободили раньше меня.

В пятьдесят девятом я был в Москве, хотел зайти к нему, но побоялся. Пуганый стал. Скажут, член партии (меня еще в 1956-м восстановили), а дружит с попом...

Тяжело приходилось, жена еще не приехала. Условия никудышные — спали на полу, на соломе, без всякой постели. С приездом Екатерины Ивановны, конечно, сразу стало легче, она же вольная. Ходила в деревню, покупала продукты. С Дорой Абрамовной Лазуркиной ходила за горохом. Лазуркина — соратница Ленина, член партии с 1902 года.

Еще один небольшой штрих. Начальником отделения, где дважды в месяц отмечались ссыльные, был Высоцкий. В его кабинете висели портреты Ленина в рамке и Сталина без рамки. Высоцкий как-то просит одного из ссыльных: «Сними рамку с портрета Ленина и вставь в нее сталинский портрет».— «А Ленина куда?» — «Да брось вот туда, в угол»,— отвечает начальник.

Эпизод, на мой взгляд, весьма символичен. Он достаточно точно характеризует время. Время, когда фигура и деяния «великого кормчего» отодвинули Ленина на второй план. А разве можно вообще ставить рядом этих деятелей?! Даже если только сравнить их отношение к своим идейным противникам.

В Уфимской тюрьме одно время я сидел с неким

Майоровым, откровения которого весьма интересны в человеческом плане и ценны в историческом

Майоров по аграрному вопросу всегда яростно выступал против Ленина. В оппозиционной прессе печатал статьи на экономические темы — он был профессиональным экономистом. В трудный для партии период Ленин вызвал его к себе и сказал, что своей деятельностью товарищ Майоров мешает большевикам и поэтому ему придется пожить какое-то время в Ташкенте.

Через неделю после этого разговора его переправили в Ташкент, причем в царском поезде... Во время прогулки по городу сопровождающий поинтересовался, где бы «новоприбывший» хотел жить? Майорову было все равно. «Этот дом вас устроит?» — показали ему на отличный особняк.

Через некоторое время Майоров с женой и собакой, которую они с собой захватили в поездку, вошли в дом. Там уже стояла мебель из московской квартиры!

На службу Майоров не ходил, а деньги, очень приличные, получал. По сути, получал за то, что «не мешал» стране в трудные для нее дни. В конце концов не выдержал — попросил работы: совесть не позволяла жить на незаработанные деньги. Ему дали работу, и он стал ее выполнять за прежнюю плату.

Майоров очень гордился этой своей деятельностью — в разработке первого пятилетнего плана Узбекистана есть его немалая заслуга.

При Сталине Майорова вместе с женой Марией Спиридоновой сослали в Уфу.

Мария Спиридонова некогда была популярнейшим лидером левых эсеров. В 1906 году в Саратове она стреляла в генерал-губернатора. После мятежа левых эсеров в 1918 году от политики отошла. Но это позже не уберегло ее от сталинской карающей десницы.

Конечно, каждый ссыльный, прибывающий из центра, в первую очередь стремился к Спиридоновой — личность она была неординарная, многим знакомая. Как правило,

просили ее помощи в трудоустройстве. Это естественно.

И вот Спиридонову обвинили, что она в Уфе пытается сформировать эсеровскую группу для покушения на правительство республики. У Михаила Шатрова есть об этом напоминание в пьесе «Дальше, дальше, дальше!!!». Спиридонова как бы говорит о себе из тех лет:

«Последний раз была арестована в Уфе. Обвинили в подготовке покушения на правительство Башкирии. Правда, в связи с тем, что все это правительство через несколько дней тоже оказалось в соседних камерах, заменили подготовкой покушения на Ворошилова, если бы он вдруг надумал приехать в Уфу.

Наблюдая за тем, кем и как заполняются камеры, поняла, что произошел антисоветский переворот. Свидетельствовать на процессе Бухарина, что наше июльское восстание было результатом сговора с ним, отказалась. Мои коллеги по Центральному Комитету Камков и Карелин не выдержали и такие показания суду дали. В 1941 году за несколько часов до прихода немцев в Орел была расстреляна».

Вообще, по слухам (а в тюрьме у нас они разносились молниеносно: кого расстреляли, кто новенький и за что сидит, кого на воле назначили тем-то...), со Спиридоновой обращались жестоко и цинично. Она же вела себя очень стойко и якобы одному из следователей заявила: «Молокосос! Когда ты только родился, я уже была в Революции!..»

...Смотрю альбом с фотографиями. Не может не броситься в глаза: везде Касым Кутлубердич Aзнабаев с напряженным лицом. Я говорю ему об этом. «Конечно»,— соглашается он. И вдруг попадается совершенно иная — смеющийся, раскованный, красивый, среди густой листвы. «Это вы?» Он подносит близко к глазам, будто желает удостовериться, он ли... «Это вы?» — переспрашиваю. «Я. В саду прошлым летом. Один газетчик щелкнул по одному весьма важному поводу». Он встает, молча и сосредоточенно роется в папках, протягивает четвертушку листа:

«Дело по обвинению гражданина Азнабаева Касыма Кутлубердича пересмотрено Президиумом Верховного суда Башкирской АССР 21 мая 1956 года Постановление от 19 августа 1940 года и поста-

новление от 25 июня 1949 года в отношении Азнабаева К. К. отменено, и дело производством прекращено».

«И все?!» — хочется одновременно прошептать и крикнуть.

— Фитюлька, да? — смеется Касым Кутлубердич.— Как это у классика: «...дорогого стоит» ... Восемнадцати лет жизни стоит.

Я спросила у Касыма Кутлубердича, какую концовку к своей публикации он считает наиболее естественной. Он начал говорить почти сразу:

— Моя судьба перекликается с судьбами миллионов. Она даже в определенном смысле типична. Вот это-то и страшно... Хорошо бы написать, что после полной реабилитации я еще был полезен, работал в издательстве редактором, за что и получил звание заслуженного работника культуры БАССР...

Он еще что-то хочет сказать, но я вижу по его лицу, по тому, как оно меняется, достаточно и сказанного...

Во время общения со Стариком, как я его всегда называю мысленно, мне часто по ассоциации приходили на ум то одни, то другие поэтические строчки. Думаю, не случайно, ведь поэзия — это еще и концентрированная боль души. Арсений Тарковский писал: «Жизнь брала под крыло: берегла и спасала. Мне и вправду везло, только этого мало...» — вроде бы и спорные слова, и даже «из другой оперы», но они, эти слова, какой-то настойчивой мелодией преследовали меня, когда еще и еще раз я слышала голос своего Старика...

«Вот и лето прошло, словно и не бывало...» А может, жизнь и брала-таки под крыло? Ведь жив, жив остался.

«Все выдержал, и Родину свою люблю, и в народ свой верю...»

Татьяна
ЧУСОВИТИНА

О пережитом

13 июля 1937 года мой муж Василий Кузьмич Рыжков, первый секретарь Увельского райкома партии Челябинской области, был взят органами НКВД во время сессии Челябинского областного Совета. Я, его жена — Татьяна Илларионовна Чусовитина, по специальности педагог,— была арестована 10 мая 1938 года Багарякским отделом НКВД с четырьмя детьми в возрасте семи лет, двух лет и двумя двухмесячными младенцами (двойняшки — мальчик и девочка). Еле упросила я начальника отдела Бакланова, чтобы старших сыновей Радия и Владимира разрешили передать моей матери Анне Никифоровне Чусовитиной, проживающей в селе Огневском Багарякского района.

На следующее утро готовился этап до Каменска-Уральского. Оформляли документы, снимали отпечатки пальцев. Главный врач районной больницы, который вообще никого не осматривал, дал заключение, что арестованная здорова и к этапу готова.

Так начался мой тяжкий путь...

Перед публикацией записок мы попросили Татьяну Илларионовну Чусовитину (а проживает она сейчас в Кемерово) подробнее рассказать о челябинском периоде ее жизни. Полностью приводим ее письмо:

«До переезда в Челябинск мы в течение последних трех лет работали в Далматовском районе. Рыжков — первым секретарем районного комитета партии. Я — директором средней школы. 13 февраля 1935 года переехали в Челябинск всей семьей. Квартир в то время было мало. Мы с семейством в пять человек, позднее прибавился шестой, жили в гостинице более года.

В марте 1935 года я приняла заведование Челябинской школой № 36. Школа была железнодорожная (в то время находилась в ведении гороно), размещалась в трех приспособленных зданиях. Несколько классов занимались в помещении бывшего склада. Находилась школа на углу улиц Ленина и Спартака. В апреле я получила извещение от комиссариата путей сообщения, что для школы в начале года будет построено новое здание. Его начали строить неподалеку, тоже по улице Ленина. Наверное, и сейчас стоит это здание.

Техники строительной тогда было не густо. Но уже в августе школа справила новоселье. Первого сентября состоялось ее открытие Поработать, однако, мне пришлось очень мало. В ноябре я получила декретный отпуск. Родился второй сын. Вышла на работу в марте 1936 года. Челябинский гороно назначил меня директором новостроящейся школы по улице Свердлова. В Челябинске в тот год строилось семь новых школ, и при гороно создали институт директоров школ-новостроек. Завгороно был Л. Г. Шапиро. Мы регулярно собирались в гороно, докладывали о ходе строительства. Школа приняла небольшое наследство от школы № 30. Новой школе и был присвоен этот номер: Челябинская неполная средняя школа № 30. Строители были спецпереселенцы с Украины. Рабочими специальностями не владели, и, несмотря на воспитательную работу, которую мы вели среди рабочих, строительство шло с трудом, были срывы. Затем над школой взяло шефство областное управление НКВД.

В августе здание школы приняла комиссия.

Из учительского коллектива школы № 36 никого не помню. В школе № 30 коллектив учителей был около 40 человек. Очень хорошо помню Степана Антоновича Федорова, он преподавал физику. Он же был заведующим учебной частью по старшим классам. Преподавателем по физическому воспитанию был Виктор Александрович Щипакин. Пришли в школу и молодые учителя. Их было четверо. Две девушки и два молодых человека. Один по фамилии Воробьев, второго звали Георгий Константинович. Припоминаю имена учителей — Анна Ивановна, Мария Павловна, Агафья Перфильевна.

Закончив 1936—1937 учебный год, я выбыла в Увельский район, где Рыжков уже с марта 1937 года работал секретарем районного комитета партии.

Хорошо помню учителей-методистов Караковских. Они работали в то время в Челябинском областном отделе народного образования Вообще я их знала еще по работе в Свердловске. Когда Рыжков учился в Коммунистическом университете, я заведовала в Свердловске школой № 12. Школа была начальная, но с большим количеством классов. Не так давно с удовольствием слушала по телевизору выступление сына Караковского, директора московской школы, учителя-новатора. Помню еще преподавателя математики Маргариту Евгеньевну Кирееву. Она в 50-е годы также работала в Челябинском облоно.

В 1946- 1954 годах я заведовала Давыдовской начальной школой Багарякского района. Несколько раз за эти годы участвовала в осенних педагогических конференциях в Челябинске Знакомых по тридцатым годам учителей, к сожалению, никого не встречала.

Из товарищей по заключению в Челябинске проживала Галина Михайловна Чернышова Мы с ней активно переписывались. Лет 10 назад переписка прекратилась. Внукова, жена начальника цеха ЧТЗ, умерла где-то в 1948—1949 годах. Еще там проживали Смирнова, муж ее тоже работал на ЧТЗ, Мельникова, Ганибесова, муж ее в 1937 году работал председателем Кировского райисполкома Челябинска. Из родственников в Челябинске проживает моя племянница Галина Ивановна Кучеренко.

5 июня 1988 года»

А теперь вновь вернемся к запискам Татьяны Илларионовны.

Василий Кузьмич, член ВЛКСМ с 1919 года, член Коммунистической партии с 1922 года, родился в селе Огневском Багарякского района Челябинской области в 1905 году. Родители его были беднейшие крестьяне. В хозяйстве не знали ни лошади, ни коровы. Семья засевала 1,5—2 десятины посева, потом отрабатывала за это. Василия с семи лет отдавали богатеям села в борноволоки. Отец его, Кузьма Федорович, участник первой мировой войны. После Октябрьской революции вернулся в село коммунистом. Мать Рыжкова, Анна Арсентьевна, в 1920 году первой из женщин села стала членом партии. В том же 20-м году отец Василия включился в гражданскую войну, воевал в Средней Азии с басмачами и в 1921 году погиб. Вася Рыжков был первым комсомольцем в Огневском, он же и организатор первой комсомольской ячейки. За активную работу среди молодежи села Багарякский райком комсомола в 1921 году направляет его на учебу в Петроградский коммунистический университет. В 1922 году Смольнинский райком партии переводит Василия из кандидатов в члены партии. Закончив университет, Рыжков работает преподавателем Шадринской окружной партийной школы. В 1926 году поступает учиться в Урало-Сибир-

ский коммунистический университет им. В. И. Ленина. Заканчивает его в 1929 году. В документе об окончании университета дана рекомендация для поступления в Институт красной профессуры, но у Василия был мал стаж практической работы.

Уральский обком ВКП(б) направляет В. К. Рыжкова первым секретарем Каргапольского райкома партии. Позднее он работает первым секретарем Варгашинского, Далматовского райкомов партии, все — в Уральской области. В 1934 году из Уральской области выделяется Челябинская область. Подготовительный комитет по подготовке и проведению первого областного съезда Советов вновь образованной Челябинской области поручает Василию Кузьмичу доклад «О состоянии сельского хозяйства области». На съезде он избирается членом облисполкома, утверждается начальником областного земельного управления. Через год начальником облзу стал приехавший из Москвы Виноградов, Рыжков — первым его заместителем.

Мужу не нравилась аппаратная работа — он привык к повседневным практическим делам, поэтому неоднократно просил обком партии направить его на работу в район. В свои 32 года энергичный, всегда устремленный к новому конкретному делу, он считал, что больше принесет пользы на низовой, самостоятельной работе. Его просьбу удовлетворили, он утверждается первым секретарем Увельского райкома партии.

В конце марта 1937 года Василий Кузьмич выехал в район, провел подготовку и проведение весеннего сева. 9 июля 1937 года поехал в Челябинск на пленум обкома партии, а после пленума началась сессия областного Совета, и там 13 июля 1937 года он был арестован.

Я — Чусовитина Татьяна Илларионовна, 1903 года рождения, член ВЛКСМ с 1923 года, член КПСС с 1927 года. Мы с Василием Рыжковым были из одного села. Наша семья по сословию крестьянская, в ней было десять детей. Отец мой Илларион Елисеевич работал

сельским писарем. Вместе с нами проживала его старшая сестра Чусовитина Мария Елисеевна, заведующая Огневской начальной школой. Она помогла отцу в воспитании детей. Благодаря ей я получила образование. Работая в школе с 1891 года, Мария Елисеевна совершенно сознательно восприняла события 1905—1907 годов. За стремление дать детям в школе как можно больше естественно-научных знаний и за свои прогрессивные взгляды она находилась под негласным надзором полиции. Отец, убежденный атеист, за непосещение церкви, за несоблюдение постов в 1912 году был отлучен от церкви. Местный поп Василий Мамин всенародно предал его анафеме. А после того как свершилась Октябрьская революция и на местах стали создаваться Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, Илларион Елисеевич и Мария Елисеевна были в числе организаторов Советов вместе с вернувшимися домой фронтовиками.

Священник Мамин, организуя местное кулачество, вступил в открытую борьбу против Советской власти. Все члены Совета, в том числе и наш отец, были избиты кулаками. На бедняцком сходе села сестру отца избрали делегатом в губернский Совет — просить помощь для защиты Советской власти. В Огневское был выслан отряд Красной гвардии, мятеж был подавлен. Кулаки и поп скрылись. Время становилось все тревожнее, наступал Колчак, поднимала голову местная контрреволюция (кулаки, торговцы). В июне 1918 года Огневское заняли колчаковцы. Вернулись священник Мамин и его сыновья — белогвардейские офицеры. Начались репрессии. Особенно доставалось семьям членов первого совдепа. Отец отступил с частями Красной Армии, а Мария Елисеевна стала первой жертвой. Ее арестовали в первый же день. Всего в селе было арестовано более 16 человек. Затем их увезли в Касли, где находилось главное белогвардейское судилище, а 20 августа 1918 года казнили за Каслями, в Ручейных горах.

Нас выросло в семье девять комсомольцев. Позднее все мы стали коммунистами. Отец наш так и не восстановил своего здоровья, умер в 1925 году, в 49 лет. Мать, вырастив детей и проводив их на самостоятельную работу, стала тоже членом коммунистической партии. С 1928 года наша семья вступила в Огневскую сельскохозяйственную артель имени Фрунзе...

Большое горе свалилось на мою голову в связи с арестом мужа. Мы прожили с ним в любви и согласии тринадцать лет. У нас не было никаких накоплений, никаких материальных ценностей. Мы, по существу, все еще учились. Я работала директором неполной средней школы в Челябинске, училась на вечернем отделении педагогического института. Учились две сестры мужа, училась моя сестра в институте, мы помогали им. Не могла жить в городских условиях потерявшая зрение свекровь. Поддерживали ее материально. Не имели дурных привычек. Василий был полнейший трезвенник, не курил. И вот наша честно работавшая семья была опозорена, унижена...

Как жить дальше? Что делать?

Я пошла в областное управление НКВД. В справочном отделе мне ответили, что следует обратиться к следователю Ворончихину. Вызываю его по телефону, он спускается в комендатуру. На мои вопросы отвечает, что я ему пока не нужна, а вот для мужа предлагает передать рабочий костюм и верхнюю одежду. Потом пошла в Ленинский райком партии, сниматься с партийного учета, так как я только что из Челябинска переехала в Увельку. Думала там найти поддержку и совет, как мне вести себя дальше. Но после непродолжительного разговора с представителем райкома мне предложили... сдать партбилет.

Родственники помогли мне с детьми переехать в Огневское к матери мужа. К этому времени свекровь и моя

мать были исключены из партии, одна за сына, другая за зятя — «врага народа». Была снята с учительской работы сестра мужа Анисья Кузьминична Горшкова, ее муж Иван Михайлович Горшков работал секретарем Варненского райкома комсомола Челябинской области. Моя сестра Галина Илларионовна, преподаватель биологии Огневской школы, ее муж Павел Дмитриевич Белоусов, преподаватель математики, тоже были сняты с работы — за Рыжкова. На мое заявление в Багарякский отдел народного образования дать мне возможность трудиться в школе я получила отказ. Так прервался мой 18-летний педагогический стаж.

Чтобы существовать с семьей в шесть человек, пришлось продавать необходимые вещи. В конце августа 1937 года получаю почтой от Челябинского областного управления НКВД разрешение на свидание с мужем.

Свидание происходило в кабинете начальника управления. Начальник предупредил меня, чтобы я рассказала мужу, что дома у нас все хорошо. «Зачем его расстраивать, ведь он не на курорте, а в тюрьме»,— сказал он. Вошел муж, он так был расстроен, что не мог начать разговор. Слезы и мне застилали глаза, но я взяла себя в руки и начала говорить, что дома все хорошо, что я переехала к матери в Огневское. А вот работы мне не дают, трудно жить. Василий тут же обратился к начальнику с просьбой оказать мне содействие. Потом я посмотрела на мужа и неожиданно увидела, что он совершенно седой, голова его белым пухом покрыта. Я больше ничего не могла говорить: у меня перехватило дыхание. Начальник сказал, что свидание закончено. Муж с волнением произнес: «Береги себя, береги детей...»

Начался учебный год, но назначения на работу я все еще не имела. Решила снова ехать в Челябинское областное управление НКВД. Опять обратилась к следователю Ворончихину. Разговаривая с ним о том, что мне все еще не дают возможности работать в школе, я попро-

сила его дать мне свидание с мужем. Немного подумав, он сказал: «Хорошо, приходите в 12 часов ночи, больше мне некогда». К назначенному времени, купив для передачи фруктов, я пришла в областное управление НКВД. Ворончихин встретил меня, и мы с ним стали подниматься на четвертый этаж. «Что это вы так медленно поднимаетесь?» — спросил он. Я ему ответила, что скоро должна пойти в декретный отпуск, а все еще не получила назначения на работу. Он был очень удивлен, даже остановился. Может быть, он хотел арестовать меня, благо сама напросилась. В то время взяли уже многих жен арестованных работников облисполкома, обкома, горкома партии Челябинска. И именно таким образом: вызовут в поздний час, продержат до 5—6 часов утра, а потом отведут в тюрьму. Жена Попова пришла на свидание с мужем вместе с 13-летней дочерью. Мать была задержана, а девочке пришлось ночевать в комендатуре

Но Ворончихин, видимо, не решился брать меня в таком состоянии. Усадив меня в своем кабинете, он пошел за мужем. Ходил он довольно долго. Открыв двери и подтолкнув сзади Рыжкова, следователь сказал: «Иди, иди, вон тебя жена ждет». Увидев меня в такое позднее время, Василий очень испугался: «Как ты оказалась здесь?» Я сказала: «Вот приехала. Я не знаю, что мне делать. Работы мне не дают. У меня двое маленьких детей и будет еще третий, слепая мать, чем я буду кормить их, как жить?»

Мы сели, поговорили о семейных делах. Василий несколько раз повторил: «Ты прости меня, но я не виноват». С большой тревогой друг за друга в час ночи мы расстались. Тогда я еще не знала, что вижу любимого в последний раз.

Работу в школе я так и не получила. В декабре 1937 года снова поехала в Челябинск узнать, что с мужем. В комендатуре НКВД женщина, сидящая в справочном отделе, открыла толстую книгу, нашла его фамилию и сказала, что он 4 ноября 1937 года выбыл.

А куда — не сказала. Посоветовала искать где-нибудь на пересыльных пунктах. В городе я встретила Галю Чугину. Ее муж, бывший работник Челябинского облзу, тоже был арестован. Она сказала мне, что на пересыльных тюрьмах никаких справок не дают, так что искать бесполезно. «Поезжай-ка лучше домой,— посоветовала она.— Скоро у тебя будет еще ребенок, и в этом твое спасение».

И я вернулась к детям.

31 декабря 1937 года вечером на дворе разыгралась страшная пурга. Часов в девять приходит из Огневского сельского Совета рассыльный и говорит, что меня срочно вызывают в сельсовет: приехал представитель из Челябинского областного управления НКВД по фамилии Трясцин. Он сказал, что должен меня допросить и произвести обыск в моей квартире.

Записав общие сведения обо мне, взяли в сельсовете двух понятых и пошли в дом делать обыск. Наш дом — небольшая хата-мазанка, одна комната и кухня. В комнате сплошные кровати. Сделали обыск; кроме детей, белья и одежды, ничего не было. Вернулись в сельсовет. Проходя через коридор, я увидела, что на подоконнике сидит местная акушерка Голубятникова. Я с ней не была знакома и, будучи беременной, к ней не обращалась. Это ее вызвал следователь, боясь, что со мной может быть плохо. До трех ночи он мучил меня, предлагая подписать документ, в котором говорилось, будто бы я знала о виновности мужа. Но я ничего не знала и подписывать не хотела.

Много бед причинил следователь Трясцин семьям ответственных советских и партийных работников Челябинска. Он арестовывал жен, а детей отправлял в детские дома. Жене первого секретаря райкома Воробьевой не разрешил взять с собой грудного ребенка, направил всех троих ее детей в детприемник. Женщинам не разрешал взять с собой даже запас белья и т. д. Зверь был, а не человек.

Я уже потеряла всякие силы, не знала, что говорить. А на дворе пурга, ему же надо было ехать до Багарякского районного отдела НКВД, во дворе стояла запряженная лошадь.

Еле живая я вышла из здания сельсовета. Моя сестра и зять подхватили меня под руки: они дежурили у сельсовета. Думали, что меня увезут. Но обошлось. Меня отвели домой, привели в чувство.

8 марта 1938 года в Багарякской районной больнице я родила двойняшек — мальчика и девочку.

1 апреля 1938 года я получила назначение Багарякского роно в Боевскую начальную школу — 18 км от Огневского, а была еще очень слабая, но делать нечего, нашла няню и, забрав четырех детей, выехала к месту работы, где проработала месяц и 10 дней.

10 мая 1938 года к моей квартире в Боевке подъехал начальник районного отдела НКВД Бакланов. Посмотрев в окно, я увидела, что у ворот стоят две подводы. Бакланов зашел в квартиру, встал посередине комнаты, поздоровался и спросил, как мое здоровье. Затем кивком указал на детскую качалку и спросил: «А у этих?» Подумала: «Видимо, в курсе, что у меня родилось двое». Бакланов постоял немного в раздумье. Потом говорит: «Вы должны ехать к вашему мужу». Я спрашиваю: «Это он вызывает меня или как? Почему в такое неподходящее время? Ехать сейчас я совершенно не могу. Дети маленькие, слабые, как с ними я буду?»

«Вы поедете под нашим надзором,— строго сказал он.— Даю вам два часа, соберите вещи и погрузите на телегу».

И вышел.

Во двор въехала подвода с кучером. Стали выносить вещи. Я начала собирать детей. Так Бакланов арестовал меня и четырех моих детей.

Привезли нас в районный отдел НКВД. Я села и думаю, что мне делать? Как ехать с детьми? Я была совершенно одна, растерянна. Думала, буду протестовать,

не поеду до тех пор, пока не получу санкции областного управления НКВД, даже мысленно думала, а не написать ли письмо в Москву, не пожаловаться ли Сталину? Я обратилась к дежурному, чтобы позвали Бакланова. Тот пришел. Я сказала: «Заявляю вам, что я протестую против такого отношения ко мне и детям... И ехать с маленькими детьми не могу». Тогда он попросил меня в свой кабинет и предъявил документ — решение Особого совещания НКВД СССР от 21 марта 1938 года. В нем говорилось, что я осуждена, как член семьи врага народа, к заключению сроком на 8 лет. Наказание должна отбывать в исправительно-трудовом лагере, находящемся в Мордовской АССР.

Потеряв всякую надежду, с оборвавшимся сердцем я спросила Бакланова: «Что вы сделаете с моими старшими детьми? Вы направите их в детский дом?» Он ответил: «Да». Я поняла, что никто ни в области, ни тем более в районе решения Особого совещания отменить или изменить не сможет...

Собравшись с силами, я стала просить Бакланова вызвать мою мать, Анну Никифоровну, чтоб передать ей старших мальчиков. 11 мая 1938 года я передала маме детей, которых она и увезла в Огневское. Сыну Радику было семь лет, Володе — два года.

12 мая 1938 года Багарякский отдел НКВД и милиция отправляли этап из семнадцати заключенных, в числе их было четыре председателя колхозов. Сопровождали нас два милиционера. Направлялись в Каменск-Уральский, на ближайшую железнодорожную станцию, 40 километров пути. День выдался солнечный, жаркий, ехать было невыносимо тяжело. Второго моего ребенка, поочередно сменяясь, держали на руках два бывших председателя колхоза. От всех переживаний, которые я перенесла за двое суток, у меня пропало молоко. Голодные дети плакали. Милиционер, видя мое положение, сказал: «Скоро

будет селение, там есть магазин, я куплю вам печенья. Покормите их с водичкой...»

Еще сильнее мучились мои дети, когда мы прибыли в Каменскую районную тюрьму. Рядом в камере сидел известный в нашем крае врач Скворцов. Он, как и я, не спал всю ночь, ходил из одного угла в другой. Слышно было, как поскрипывали его сапоги. В 8 часов утра нас стали собирать для отправки на станцию. На станции стоял такой же этап из Покровского. Заботливый милиционер нашел мне там няню, чтобы внести в вагон второго ребенка. Вечером мы прибыли в Шадринск.

В Шадринске нас ожидал новый конвой. Няню мою сразу взяли, она была из другой группы заключенных. Я с ребенком на руках выхожу из вагона. У ступенек стоит начальник конвоя, я кладу ребенка ему на руки, возвращаюсь за вторым. Выношу второго, кладу на руки, но уже рядом стоявшему с начальником конвоиру. Сама снова в вагон. Выношу чемодан. Один из конвоиров говорит: «А мы думали, вы третьего нам вынесете».

В Шадринской тюрьме я пробыла семь дней. Рано утром меня подняли, чтобы я быстро собиралась к отправке. На дворе лил сильный дождь, меня укрыли на телеге вместе с детьми, посадили еще женщину и повезли на станцию. Но в тот день так и не отправили: не было продуктов. Увезли обратно в тюрьму.

В это время в тюрьме находился весь состав работников Шадринского райкома партии во главе с первым секретарем Деминым. Он узнал меня, во время прогулки увидел в окно. Потом одна женщина из обслуги передала мне от него привет.

Через три дня снова везут на станцию. Одновременно отправляется этап цыган, которые осуждены за воровство колхозных коней,— семь мужчин и одна молодая девушка. Снова, слышу, спрашивают: «Продукты есть?» Вижу: через мою голову летят сухая вобла и буханки хлеба. Один из конвоиров заботливым оказался, купил мне связку кренделей.

Вечером этого же дня мы прибыли в Курган.

Вышли. Построились и по шоссе направились к городской тюрьме. Вдруг смотрю: на дороге стоят мои вещи. Цыгане, которых я попросила, не захотели нести, бросили. Остановилась. За мной встала и вся колонна. Цыгане вступили в спор с охраной. Началась перебранка, шум. Из тюрьмы прибыл усиленный конвой — верховые с обнаженными наганами.

Цвела сирень, черемуха в садах... И такой был аромат, несмотря на то что погода стояла дождливая!

Сначала нас остановили в первом дворе, где был сад. Потом раздвинули широкие, массивные ворота и ввели во внутренний двор тюрьмы. Через некоторое время пришел человек, вывел меня с детьми из толпы, присчитал еще десять человек и повел в корпус. Открыл одиночную камеру... Там стояла тюремная койка, и на ней рваный матрац. Окно без рамы, сквозняк, пол грязный. Все зашли и, тесно прижавшись друг к другу, некоторое время стояли в оцепенении. Как же здесь ночевать? Вдруг одна высокая седая женщина говорит: «Дорогие товарищи! Что же мы стоим? Я предлагаю сейчас же вызвать администратора и предъявить наши требования:

вставить застекленную раму;

дать нам ведро с водой и тряпки, чтобы вымыть пол;

высушить детские пеленки;

немедленно накормить мать с грудными детьми».

Явился заведующий тюремным корпусом. Внимательно выслушал наши требования и сказал, что все будет выполнено. Вскоре пришел плотник с рамой. Дали ведро и тряпки. Женщины начали мыть пол. Пришла женщина из сушилки и забрала все мокрые пеленки. Из кухни принесли огромный бак с ячменной кашей. Все поели и легли, подстелив под себя свое собственное пальто и котомки под голову. Но в камере все равно было холодно. Я всю ночь, как наседка над цыплятами, оберегала от сквозняка детей...

Пробыла я в Курганской тюрьме почти две недели.

12 Зак. 352

Немного пришла в себя. Когда выводили на прогулку, женщины брали моих детей, помогали мне. На день нас закрывали в камерах на замок.

Однажды вечером пришел дежурный, открыл камеру и приказным тоном сказал: «Срочно собирайте вещи, вы включены в этап, следующий на Челябинск».

Пришла женщина, дежурная по канцелярии, взяла у меня второго ребенка, и мы спустились на первый этаж в так называемую этапную. Ко мне подходит мужчина и говорит, что он директор Варгашинской МТС Боглюк. «Я хорошо знаю вашего мужа, Василия Кузьмича,— сказал он.— Не беспокойтесь, я вам в дороге помогу». Вещи мои хранились в камере хранения. Я смотрю: людей уже ставят в колонну, а вещей нет. Обращаюсь к дежурному, тот говорит, что у него нет ключей от камеры хранения, они у начальника корпуса, а начальник уехал. Потом сказал: «Придется, наверное, вас вернуть в камеру».

Вернули. Я начала развертывать детей. Вдруг слышу: быстрые шаги. Вбегает дежурный, говорит: «Начальник корпуса вернулся, вещи ваши уже уложены, быстро одевайтесь, спускайтесь к подъезду».

Ходочек был небольшой, мы с детьми еле вместились в него. Седок, сам начальник корпуса, был подвыпивший, и он помчал нас что есть мочи. Я думала, что не быть нам живыми. Выехали на привокзальную площадь, в поезд уже вовсю шла посадка. Оставались считанные минуты. Подъехали к самому вагону, и меня быстро втиснули в него. Кто-то принял детей, все вещи разлетелись по вагону.

Поезд уже давно набрал скорость, а мне все собирали и передавали вещи: то чайник, то сумку. В эту сумасшедшую посадку я потеряла последние деньги (более 100 рублей, мне была выдана зарплата в Боевской школе).

Утром рано мы прибыли на станцию Челябинск. После проверки нас посадили в арестантскую машину и привезли в Челябинскую центральную тюрьму. Целый день

шло оформление. Я сидела в подвале на полу, рядом со мной стояла детская ванна и чемодан, на них лежали мои маленькие дети. А мне несколько раз приходилось вставать и упираться лицом в стену, чтобы не видеть, как из камер на прогулку выводили заключенных. Потом мне уже не давали команды, и я видела, как из одной камеры вывели более 150 человек. Сначала шли те, что на ногах, потом шли по двое, поддерживая друг друга. Последними были те, кто идти совсем не мог, ползли. Одежда на них была рваная, вместо брюк женские юбки. Вечером видела, как вывели большую группу людей в железнодорожных шинелях (без знаков отличия).

Дежурный, стоявший в центре тюремного подвала, крикнул своему помощнику: «Эй ты! Выводи верблюдов!» Из камеры дальнего коридора стали выходить женщины на прогулку. Их тоже было много. Ко мне подошла женщина, которая помогала мне успокаивать моих детей еще в камере Каменск-Уральской тюрьмы. Она участливо спросила: «Ну, как вы? Как дети?» «Отставить!» — послышался крик дежурного.

Вечером меня посадили в камеру, где было 18 женщин с детьми. Все женщины имели большие сроки заключения по бытовым статьям — грабеж, убийство и т. п. Среди них была одна молодая учительница, тоже жена «врага народа». У нее только что родился мальчик, она не знала, куда его отправят. Все дети были больны ветрянкой. На второй день эти «бывалые мамки», стуча в дверь, вызвали детского врача. Я очень просила, чтобы меня не помещали с детьми в эту камеру. Я еду в дальнюю дорогу, и мои дети обязательно заболеют. Врач сказал, что другого места у них нет.

Через три дня меня включают в этап. В этапной подходит ко мне бывший директор Боглюк и спрашивает: «А вы куда?» Я говорю, что не знаю. Смотрим, все те же люди, что приехали из Кургана. Вызвали меня ошибочно. Боглюк сказал, что он вот уже третий раз едет в Челябинск на допросы и снова в Курган, но допросов

не было... К 6 часам утра меня возвращают в камеру.

Через несколько дней снова включают в этап. Поезд идет на Сызрань. В вагон из пересыльной тюрьмы привезли еще женщину с ребенком. Они из Усть-Уйского района Челябинской области. Муж ее, заведующий земельным отделом райисполкома, тоже арестован. Звали ее Лиза, по фамилии Мостовских.

На третий день рано утром мы прибыли на станцию Сызрань. Конвой Сызранской тюрьмы еще не подошел, а сопровождающим конвоирам хотелось скорее очистить вагон. Нас стали выводить на площадку. Подошли двое мужчин и три подростка, направляемые в Сызранскую тюрьму, на них была возложена обязанность нести наши вещи. А вот второго ребенка некому было взять. Я положила его в ванночку. Сама уже была на площадке, а ванночка на самом краю выхода из вагона. Подошел конвоир и стал ногами выталкивать ванну из вагона! Я закричала: «Что вы делаете?» А он все равно толкает ванну. Еще миг — и ребенок полетел бы вместе с ванной. Что было бы, если бы он упал?! Может, угодил бы под колеса вагона! Я буквально на лету подхватила ванночку с ребенком. Пришел конвой, и нас повели через рельсы на перрон. Идти мне было очень тяжело. Дети в голос плачут. У самой в горле комок: ни вздохнуть, ни сказать — ничего не могу. Вдруг подходит один из конвоиров и говорит, что ему начальник приказал взять одного ребенка.

Подошли к высокой тюремной стене. Начальник конвоя открыл небольшую дверь в стене, и мы оказались в тюремном дворе. Нас, матерей с детьми, ввели в небольшое помещение. Там было прохладно, около стен стояли широкие лавки. Мы расположились. И вот открывается дверь, входит женщина в белом халате, приносит три стакана горячего молока и три булочки хлеба! Так распорядился начальник конвоя. Спасибо ему большое! Часа через два к нам вошла тюремный врач и нас положила в больничную палату.

Десять дней мы пробыли в Сызранской тюрьме. Нянечки больницы выносили на прогулку моих детей. Здесь же в одной палате лежала женщина из Киева, ее сняли в пути при следовании на восток. Она родила в больнице близнецов — двух мальчиков.

Нас, челябинских матерей, включив в этап, утром выводят на площадку во дворе тюрьмы. На лужайке сидят 18 женщин. Это все жены командного состава Черноморского флота из Севастополя. Теперь они тоже направляются на станцию Потьма Рязанской железной дороги.

Ехали мы в вагоне, где не было полок. Все расположились на полу. Три раза в день нам давали кипяток и черный хлеб. Дети мои меня буквально «съели». Хотят есть, а кормить нечем, молока мало...

21 июня 1938 года в 4 часа утра мы прибыли на станцию Потьма. На дворе чуть рассвело. Вагон наш остановился, не доезжая до станции. Кругом лес. Открыли вагон, и человек в черной телогрейке принял нас по счету. На телегу сложили вещи и посадили матерей с детьми. Остальные шли в колонне. Отъехав небольшое расстояние, мы остановились у жилого дома. У большого нового рубленого дома. Направо — амбар. Человек, принявший нас, матерям с детьми велел подняться на крыльцо и сказал: «Там есть пустая комната, обоснуйтесь в ней». Остальных запер в амбаре, повесив на двери большой замок. В комнате было очень грязно, много клопов. Мы убрали мусор, оборвали клочья обоев, стали укладывать детей. Клопы, как звери, набросились на нас. Утром я вышла на крыльцо, нигде никого нет. А наши товарищи, что сидели в амбаре, увидели меня. Они очень хотели пить. Я пошла за своим чайником, достала из колодца воды и три раза подавала им через небольшое отверстие в стене амбара.

Где-то в середине дня почти к окнам дома подошел состав — от станции Потьма шла узкоколейка. Ходили небольшие допотопного образца паровозы, прозванные «кукушками». Мне дали женщину, и мы, две матери с

детьми, были посажены в санитарный вагон. Ехали на так называемый первый швейный участок, там была пошивочная мастерская. Остальных направили на 2-е отделение, на вышивальное производство.

Встретила нас на швейном участке врач из вольнонаемных по фамилии Балтянская. После прохождения некоторых процедур, осмотра вещей, заполнения карты нас, двух матерей и трех маленьких детей, привели в зону, где находились заключенные. Нас принял начальник лагеря капитан госбезопасности Шапочкин. Прежде всего он сказал: «Зачем вы ехали? Почему не протестовали?» Я ему объяснила, как меня арестовали...

Темниковский лагерь был расположен в лесах Мордовской АССР. Вообще-то участков с заключенными было несколько, но нас об этом не информировали. Я только знала, что был центральный участок, где располагались административные организации, недалеко находился центральный больничный городок.

Пробыв в дороге почти полтора месяца, перенеся трудные этапы с двумя маленькими детьми по пути в Темниковский лагерь, я и особенно дети чувствовали себя плохо. Поэтому, попав в зону, мы были направлены в стационар, где нам была оказана первая медицинская помощь. Немного облегчило мое состояние только то, что меня встретили земляки — жены ответственных партийных, советских работников из Челябинска и Свердловска. Среди них Татьяна Григорьевна Головина, жена председателя Свердловского облисполкома (Василий Головин известен на Урале как активный участник гражданской войны, командир красногвардейского отряда), Мария Матвеевна Киселева, жена зампреда Челябинского облисполкома, Зоя Сергеевна Зыкова, жена уполномоченного ЦК партии и СНК по заготовкам по Свердловской и Челябинской областям, Вера Константиновна Попова, жена заместителя начальника Челябинского облзу, Галина Михайловна Чернышова, жена старшего агронома Челябинского облзу, О. Смирнова и Е. Внукова, жены

начальников цехов Челябинского тракторного завода, В. Ошвинцева, жена секретаря Свердловского обкома партии, и многие другие.

Более года мы были лишены переписки с родными. Мы не знали ничего о своих детях, оставленных у родственников или переданных в детские дома.

Первый год пребывания в лагере был труден, я сама переболела малярией, часто болели и дети. У мальчика был невроз желудка. После кормления он отдавал всю пищу обратно, приходилось кормить несколько раз. Перенесли и ветрянку вскоре по прибытии в лагерь.

Из 110 детей в лагере 40 было грудных. После каждого кормления у детей открывалась рвота, матери плакали, нервничали. Сказывалось и неправильное питание матерей — черный ржаной хлеб да чечевичная каша.

После долгих мучений для детей все же была создана специальная кухня, кормящим матерям стали выдавать 200 граммов белого хлеба.

В сентябре 1938 года за три недели умерло 17 грудных детей... Вообще детей можно было держать при себе лишь до трех лет. Мы стали просить администрацию о разрешении передать детей родственникам. В 1939 году такое разрешение получили. Я вызвала из Москвы свою сестру Нину Илларионовну Овчинникову и близнецов, которым исполнилось год и три месяца, передала ей. Потом они были увезены на Урал. Таким образом, у моих родных оказалось четверо моих маленьких детей. Восемь лет они росли без меня. У сестры, которая жила с моей матерью, своих детей было пятеро да моих четверо. В тяжелые военные годы дети были разутые, раздетые и кормить их было нечем. Родственники стали перевозить их от одних к другим. Одного мальчика взяла моя приятельница, учительница Т. Н. Устьянцева. И без моего согласия усыновила его. Ревдинский ЗАГС Свердловской области сфабриковал ему свидетельство о рождении, изменив место рождения, фамилию и отчество. Больших трудов стоило мне в 1957 году восстановить подлинную фами-

лию, отчество, получив из Челябинска копию его свидетельства о рождении.

Разрозненность детей в раннем детстве отразилась на всей их жизни...

После отправки детей администрация лагеря определила меня на работу в швейное производство. Уже были построены три больших цеха. Сначала шили обмундирование для заключенных — белье и верхнюю одежду. В 1939 году приступили к шитью военного обмундирования — гимнастерки, брюки, бушлаты, шинели и прочее. Работали в три смены.

Начальником лагеря, как я уже говорила, был капитан госбезопасности Шапочкин. Отношение его к заключенным было корректное. А вот охрана — это особая группа — доверия к нам не имела. Каждый день в 6 часов вечера была проверка. Тщательно следили за бровкой (трехметровый частокол). На четырех вышках непрерывно находились часовые. Иногда выводили всех с вещами в особую изгородь. Проверяли по списку и вновь возвращали в зону.

Состав женского населения лагеря оказался самый разнообразный, а всего нас было на этом участке более двух тысяч. Представителей всех союзных республик можно было встретить в лагере. Возраст примерно от 25 до 50 лет. Правда, были три 16—17-летние девушки, только что закончившие 10 классов. Их отцы были объявлены «врагами народа». В том числе Татьяна Смилга и две девчушки с матерями из Коломны. Были сельские и городские жительницы, особенно много из Москвы, Ленинграда, Киева. В основном жены партийных и советских руководящих работников. Все жены оказались ответчиками за своих мужей. А вот сроки были разные: кому восемь, кому пять лет. Даже частушку пели: «Кому восемь, кому пять, а за что — нельзя понять». Приговоры Особого совещания выносились и утверждались целыми списками.

Много было жен военных, в том числе крупных военa-

чальников: Эйдемана, Корка, Якира, Гамарника. Жена маршала Тухачевского была на втором участке. Единственная дочь В. Д. Бонч-Бруевича, Елена Владимировна, тоже сидела, как жена военного. Были жены генералов, полковников, руководящего состава Черноморского флота. Очень близкой мне по лагерю стала Лидия Федоровна Петрулевич, директор московской школы, член КПСС с 1914 года. Муж ее Николай Янсон работал в Арктическом институте в Ленинграде вместе с О. Ю. Шмидтом.

Однажды со второго участка приезжала к нам Екатерина Федоровна Шотман, участница революции 1905—1907 годов. Муж ее — Александр Васильевич Шотман, член РСДРП с 1899 года, ближайший соратник В. И. Ленина, государственный, партийный руководитель — входил в состав Советского правительства.

Е. Ф. Шотман встретила у нас много своих знакомых. Помню, вечером мы сидели на нарах Л. Ф. Петрулевич в бараке № 5. Отвечая на наши вопросы: «Почему такое могло случиться, что мы, жены, не зная о вине своих мужей и сами ни в чем не виноватые, объявлены врагами Советской власти?», Екатерина Федоровна ответила: «Это большая ошибка. Коммунистическая партия разберется в этом».— «Но когда это будет?» — спросили мы. Подумав, она ответила: «Не скоро, не ранее чем через сорок или более лет...»

Так и получилось.

Моя ближайшая соседка по нарам была Берта Петровна Видер, жена председателя Совнаркома Литвы. У нас же на участке были Анна Ивановна Червякова — жена Александра Григорьевича Червякова, председателя Совнаркома Белоруссии, позднее одного из председателей ЦИК СССР, Нина Сидоровна Мельникова — жена дипломата, посланника в Японии, затем в Италии, Анна Кирхенштейн, муж ее работал в Коминтерне. В нашем же бараке жила племянница академика Комарова, сестра прославленного Хмелева. Были жены специалистов, уча-

ствовавшие во Всесоюзном совещании жен-общественниц, бывшие на приемах у Сталина.

Очень хорошо помню Марию Григорьевну Милютину. Ее муж — Милютин тоже был в составе руководящих работников Советского правительства. Мне она рассказывала о своей племяннице Анне Лариной, молодой жене Н. И. Бухарина, и его сыне Юрии. Дочь М. Г. Милютиной, Марианна, ходила в детский сад, куда ходили и дети Сталина — Василий, Светлана.

Н. И. Бухарин в 1937 году был редактором газеты «Известия», заместителем редактора работал Карл Радек. Жена Радека — очень пожилая и больная женщина — находилась в нашем отделении. Ей часто поручали контроль в столовой, где она следила за тем, чтобы чайная ложка растительного масла (дневная порция заключенного) попадала в пищу полностью. Вскоре ее отправили на второй участок.

Много было певцов, артистов — драматических, эстрадных, балерин-профессионалов. Хорошо запомнилась мастер художественного слова Мария Переселени, она любила читать нам наизусть пьесы А. Н. Островского. Очень много было врачей. Среди нас нашлись специалисты, знающие швейное производство, они готовили механиков по обслуживанию швейных машин.

Сначала мы работали на ножных машинах. В 1942 году установили электрические. Наша швейная фабрика в годы войны принимала большие заказы на шитье военного обмундирования. Мы выпускали ежесуточно несколько тысяч комплектов. Приезжали заказчики, иногда по цехам проходили военные вместе с администрацией лагеря. Мы получали, правда редко, благодарности от военного ведомства за качественную продукцию. Производственные нормы были очень большие. Требовалось огромное напряжение, чтоб выполнить норму и за это получить талоны. Не выполнившим норму снижали порцию хлеба и не давали ужина; вручался унизительный деревянный талон. Питание до войны было сносным, в войну резко

ухудшилось. При выпечке в хлеб добавлялось много воды. Больше воды, больше припека. А чуть сдавишь — из него течет вода. Супы (баланда) были жидкие, некалорийные. Нормы продуктов выражались в граммах.

В годы войны было много больных женщин — дистрофиков. Кто не мог работать на фабрике, тех отправляли на второй участок, в больницу. Многих по состоянию здоровья актировали, родственникам разрешалось их увозить, но никто больных не брал, и они там умирали.

Вообще в нашей лагерной жизни было много трагических случаев, особенно страшно вспоминать, когда умирали дети. В сентябре 1938 года, как я уже говорила, умерло 17 детей. Приведу еще два случая.

Екатерина Мищенко, жена первого секретаря Россошанского райкома партии, сына родила в Воронежской тюрьме, с ребенком она там находилась семь месяцев. В Темниковский лагерь ребенок был привезен больным и в сентябре умер. 13 сентября в 10 часов вечера всем заключенным было дано указание не выходить из бараков. Мы с Катей пошли хоронить Олега. Она несла на руках мертвого младенца, а я поддерживала ее. Состояние у нее было такое, что она каждую минуту могла упасть. Пришли на вахту. В служебной комнате, рядом с письменным столом дежурного, стоял несгораемый шкаф, а на нем необтесанный детский гробик. Я расстелила в гробике пеленку, а мать, крепко прижав к себе сына, все целовала и целовала его. Мы положили мальчика, укутав его простынкой. Подошел дежурный, забил гроб гвоздями, мы постояли минуты две и возвратились в зону лагеря. Переступив порог барака, Катя потеряла сознание...

В 1938 году из Баку привезли беременную женщину. У нее были больные почки, и при родах она умерла. Родился мальчик. Женщины-азербайджанки назвали его Хазбулат. Три месяца кормила его грудью москвичка Мария Ивановна (фамилию не помню). Она только что отняла от груди годовалого сына. Потом Хазбулата увезли куда-то в дом младенца.

В войну все мы ждали, что в правительстве решится вопрос о нас положительно. Но там, видно, было не до нас.

Так на швейном производстве я проработала шесть лет. Вела в цехе также общественную работу, отвечала за трудовое соревнование среди швей-мотористок, выпускала газету-молнию, где отмечались успехи работниц. Участвовала в выпуске общей фабричной стенгазеты. Редактором ее была Клара Карецкая. В перерывы читала работницам статьи из газет. Одна очень больная женщина, уже лежачая, помогала мне собирать сведения, передаваемые по радио. У ее кровати по нашей просьбе был установлен радиоприемник. Она записывала все важнейшие события дня. К перерыву эта толстая тетрадь поступала мне, и я читала ее для работающих. Позднее я уже читала эти известия по всем цехам.

При администрации лагеря работал отдел КВЧ — культурно-воспитательная часть. Возглавляла его женщина вольнонаемная. Через этот отдел работающие на фабрике получали поощрения. За высокие показатели в работе, выполнение трудовых обязательств работницам выносились благодарности. Выдавались премии. Обычно это делалось после выполнения срочных заказов для армии. Мы очень ответственно относились к работе, прилагая большое усердие, чтобы приблизить победу над врагом.

В 1942-м освободили тех, кто имел срок пять лет. Они не уезжали по домам, их освобождали из зоны лагеря, и жили они уже не в бараках с тюремными восьмерками, а в общежитии. Некоторые женщины были взяты на работу в различные хозяйственные точки. Те, которые работали на швейной фабрике, получали зарплату.

В лагерь не раз поступало пополнение. Приходили эшелоны с польскими женщинами. После присоединения западных областей к Советскому Союзу они нарушали новую границу. Ходили к родственникам, на базары,

свободно пересекая пограничную полосу. За это и пострадали. Наша обязанность была научить их швейному делу. Позднее, уже во время войны, их перевезли в какое-то нейтральное государство.

Привозили девчонок-подростков, московских мародерок. Мы и этих обучали мастерству. Дело было нелегкое...

Систематическое недоедание приводило к болезням. Многие умерли. Начала болеть и я. Стало падать зрение (очки достать было невозможно). Врачи определили сердечное заболевание.

После того как некоторое время я проработала бригадиром петельных машин, администрация лагеря определила меня на работу старостой барака № 6. В этот барак вселили швейниц, дающих высокий процент выполнения производственного плана (250—300 процентов).

Мне все чаще приходилось обращаться к помощи врачей, здоровье ухудшалось. Наш лагерный врач (заключенная из Ленинграда) Ольга Ивановна Бойко сказала: «Вам надо обменять на продукты домашнюю одежду, чтобы иметь силы для возвращения домой...»

1945 год. Завершалась Великая Отечественная война. С фронтов поступали радостные вести. Чувствовалось приближение победы. Это вселяло в нас надежду вернуться домой. Там так ждали моего возвращения!

Многих из нас к этому времени уже расконвоировали, и мы свободно выходили за зону. Там можно было купить или обменять вещи на картофель и другие продукты. Из деревень приносили даже сливочное масло. За свою безупречную работу на производстве и общественную в трудовой книжке я имела 16 благодарностей. Говоря откровенно, все мы, осужденные женщины, никак не могли смириться с мыслью, что пробудем здесь все восемь лет. Все думы и чаяния были о том, что, может, отпустят раньше... Ведь несправедливо сидели. Но нет, пришлось тянуть лямку все восемь тяжелых, мучительных лет...

Кроме работы в швейном производстве нас часто между сменами направляли на разгрузку вагонов с лесом.

Хочется к этому добавить, что, не по своей вине оказавшись заключенными, мы не теряли веру в социализм, не отрывались от событий, происходивших в стране. Ведь в двадцатые — тридцатые годы мы, жены коммунистов, сами коммунисты, активно участвовали в социалистическом строительстве. Работая на швейной фабрике, в качестве премий получали небольшие деньги, которые переводились на наши личные счета. С самого начала войны мы неоднократно просили администрацию лагеря перечислить наши заработанные средства в фонд обороны. Но нам отказывали, что очень обижало, глубоко оскорбляло нас.

После Сталинградской битвы в лагере был митинг, и мы вновь потребовали взять наши взносы. На этот раз их взяли.

Наступил 1946 год. 14 марта нас, четырех матерей из Челябинской области и еще двоих матерей из Барнаула, направили на врачебную комиссию. У тех, кто не отправил детей к родственникам, дети находились в детском доме, в 40 километрах от лагеря. Комиссия освободила нас и разрешила вернуться к детям. Трое матерей пешком сходили в этот детский дом, чтобы взять своих детей. Дети были очень ослабленные.

25 марта мы собрались все на станции Потьма, тогда Рязанской железной дороги, чтобы отправиться в обратный путь. Два дня просидели: касса не продает билетов. Поезда проходят, а посадки нет. Что делать? Сами голодные, детей накормить нечем. Одна из наших женщин встретила знакомую из вольнонаемных (лежали вместе в больнице). Женщина эта решила помочь нам. Муж ее работал в охране. Он сходил в кассу и купил нам плацкартные билеты. За услугу мы ему уплатили по 100 рублей за каждый билет. Подошел поезд восточного направления, двери вагонов не открываются, и наш «благодетель» рассадил нас по буферам. Так мы ехали целый

день. Вечером из тамбура вагона, через окно, вылез пожилой человек. Он сказал, что на буферах ехать опасно, и предложил залезть всем в тамбур. Помог перебраться. И мы, пятеро взрослых и трое детей, втиснулись в этот тамбур. В углу ехал еще демобилизованный солдат. Среди ночи вдруг ключами кто-то стал открывать дверь. Это были железнодорожники. Мы предъявили свои билеты. Вагон был совершенно свободен, нам предоставили спальные места. Так мы доехали до Челябинска.

От Челябинска через Свердловск я еще доехала до своей станции Каменск-Уральский и 40 километров от станции до своего села Огневского шла пешком почти двое суток.

5 апреля 1946 года, через восемь лет, я вернулась в родную семью. Тяжелая это была встреча... Пала я в ноги своей матушке: «Прости меня, дорогая, но я ни в чем не виновата».

Ей было уже более 60 лет.

Мой сын Владислав (из двойняшек) воспитывался у свекрови, но в 1944 году она умерла от тяжелой болезни. Сестра моя Галина, бывший преподаватель биологии Огневской школы, всю войну работала председателем местного колхоза имени Фрунзе. Муж ее служил в армии (сначала имел отсрочку, как учитель). Последнее письмо написал 17 июня 1941 года, в котором сообщал, что его часть срочно продвигается к западной границе. А вскоре пришла похоронка — погиб в сентябре 41-го. У сестры, как я уже сказала, пятеро детей да моих четверо. Трудно, очень трудно было прокормить большую семью в тяжелые военные годы. Спасибо всем моим родным за их помощь!

Мне нужно было заново начинать свою жизнь с детьми. Дать им образование, привить любовь к труду, подготовить для самостоятельной дороги. Встав на учет Багарякского районного отделения МВД, я получила

разрешение работать по специальности — учителем начальных классов. Багарякский отдел народного образования назначил меня заведующей Сорочинской начальной школой. Здесь я проработала два года. Затем в 1948 году была переведена заведующей Давыдовской начальной школой, где учительствовала восемь лет. Работе в школе мне очень помогала связь с базовой школой при Московском педагогическом училище, директором которой была моя сестра Н. И. Овчинникова. Московские учителя снабжали меня методической литературой, наглядными пособиями. Племянница Ира Климова, обучаясь в одной из московских школ, собрала своим классом для учащихся нашей школы детскую библиотечку, прислали нам настоящие елочные украшения! Такие игрушки сельские дети видели впервые.

Работая в школе, я руководила драматическим кружком при местном клубе, редактировала стенгазету «Колос» в колхозе. Получая от Челябинского областного отделения общества «Знание» материалы, читала лекции в клубе перед сеансами кино, на собраниях. 6 июня 1949 года прочитала лекцию о 150-летии со дня рождения А. С. Пушкина на расширенной сессии сельского Совета. Была бессменным руководителем кустового методического объединения учителей. Имела несколько благодарностей от Багарякского роно за хорошую постановку работы в школе.

Старший мой сын Радий (1931 года рождения) в 1947 году окончил годичную школу автоводителей. Получив права шофера 3 класса, самостоятельно подготовился и сдал на шофера 2 класса. Начал работать в Уральском военном округе шофером. Позднее Радий переехал в Москву и в течение 28 лет работал шофером 1 класса в разных организациях. Сейчас работает дежурным механиком в одном из московских автохозяйств. Член КПСС.

Второй сын — Владимир (1936 года рождения) — в 1954 году поступил в Кузбасский политехнический ин-

ститут в Кемерово. После окончания института работал горным инженером на шахтах Прокопьевска. В настоящее время работает по специальности в объединении Далькварцсамоцветы в Хабаровском крае.

Третий сын — Владислав (1938 года рождения) — после окончания ремесленного училища получил специальность электрослесаря и работает на промышленном предприятии в Кемерово.

Дочь Эмма (1938 года рождения) после окончания средней школы обучалась в Бийском техникуме, получила специальность технолога деревообрабатывающей промышленности. В настоящее время старший технолог завода стройдеталей Кузбассгражданстроя. Член КПСС с 1960 года.

В 1960 году я оставила работу в Давыдовской школе и тоже переехала в Кемерово, к детям и тяжело больной матери, за которой требовался уход. Получала пенсию за выслугу лет. В 1957 году я подала заявление в Партийную комиссию при ЦК КПСС о моей реабилитации. 18 мая 1957 года военная коллегия Верховного суда СССР рассмотрела мое заявление. Постановление Особого совещания при НКВД СССР от 21 марта 1938 года было отменено за отсутствием состава преступления. Я была полностью реабилитирована, о чем Кемеровский областной отдел МВД вручил мне справку от 20 мая 1957 года за № 4п.— 021527/56. В тот же день я получила справку о реабилитации моего мужа Василия Кузьмича Рыжкова — секретаря Увельского райкома ВКП(б) Челябинской области. Его «дело» было пересмотрено военной коллегией Верховного суда СССР и по вновь открывшимся обстоятельствам, за отсутствием состава преступления, прекращено.

Парткомиссия Челябинского обкома КПСС восстановила Василия Кузьмича в рядах членов КПСС с 1922 года. Посмертно.

Вопрос о восстановлении меня в рядах КПСС рассматривала парткомиссия при Кемеровском обкоме

КПСС. Член парткомиссии специально выезжал в Челябинск. В документах значилось, что я исключена из членов партии «за неуплату партийных взносов». Постановлением бюро Кемеровского обкома КПСС в 1957 году я восстановлена в членах КПСС со стажем с 1927 года.

В 1960 году по ходатайству партийных органов постановлением Комиссии по установлению персональных пенсий при Совете Министров РСФСР мне была установлена персональная республиканская пенсия в размере 80 рублей.

С 1962 года я проживаю с семьей дочери Эммы в Кемерово, помогла ей вырастить двух сыновей. Старший внук окончил военное училище, служит на Сахалине. Всего у меня семь внуков. Мне идет 88-й год.

Из переписки с Г. М. Чернышевой и другими женщинами из Челябинска, отбывавшими вместе со мной ссылку, а также от жителей города стало известно, что «местные» жертвы 1937 года захоронены в общей могиле на Митрофановском кладбище Челябинска. Он и сейчас заметен, этот бугор, уже заросший лесом...

По документам Василий Кузьмич Рыжков расстрелян 5 ноября 1937 года.

Все это я написала в великой надежде, что такое не будет забыто и никогда не повторится...

Михаил
ШАНГИН

Дороги

Если считать началом черного времени год гибели Кирова, то когда ему был конец? В 1953-м? Или еще долго не брезжило и после смерти Сталина? Когда наступил рассвет?

Само название «черное» как-то и не вяжется с годами, когда звенели песни Дунаевского в общем хоре стахановского движения и укреплявшегося, хотя и со «сбоями», колхозного строя. И в черных днях сталинского режима звучали нотки человеческого счастья в труде великих свершений. Горько от сознания, что в то самое время, когда над страной каждое утро гремела «Песня о Родине» и всюду возвышался громадный портрет вождя в белом кителе с девочкой на руках,— в то самое время происходили события страшные, о которых народ не знал.

Народ с помощью глашатаев создал себе живого полубога и поклонялся ему слепо, фанатически: «Родному, любимому, мудрому — слава!» Сначала за «мудрого» шли в воду, потом и в огонь! А «мудрый» между тем вершил дела одновременно и нужные, и преступные, он умел позировать, казаться добрым и заботливым, пекущимся только о благе людей, стоять всегда к ним одной стороной, вроде Луны. Одни от лести, другие от обалдения не знали, как жесток и кровожаден их «добрый отец». А «отцу» не терпелось войти в историю, затмить собою Ленина, любой ценой возвысить себя, он спешил и гнул Россию в дугу через колено.

Аресты шли, как смерч. Никто не был уверен в своей

завтрашней безопасности, люди боялись друг друга, любая ошибка на работе могла быть квалифицирована как вредительство, любое слово критики недостатков — враждебная агитация.

Уводили людей, уводили...

Оставшиеся на воле не знали, что же придется испытать тем, кого увели. Как там, по ту сторону жизни?

Можно ли теперь рассказать о тех испытаниях? Скрывать их нельзя. Как пни давно срезанных деревьев выпирают землю на ровном тротуаре, так правда времен сталинщины вылезает наружу.

После гражданской, в годы нэпа, мой отец катал валенки в мастерской богатого земляка-уральца.

Летом двадцать девятого сразила отца чахотка. Нас у матери пятеро. Шестнадцатилетний брат Петька залез в гуж — ему дали клок земли, он ведал кобылой Гнедухой, коровой, сохой-сабаном. И мог нас, младших, лупить по праву старшего. С восьми лет мы помогали взрослым, а с десяти наравне со взрослыми колхозниками трудились на артельном поле. От наследственной болезни умерли вскоре малолетние брат и сестра. Мать первой в коммуну вошла, агитировала потом за колхозы на сельских сходах.

Долгие годы в колхозах жили бедно, но весело: помню, как бабы с граблями и косами на плечах в покос за восемь верст босиком туда и обратно на закате пешими — с песней! Люди страстно верили в лучшее будущее. Начислит бригадир трудодень — радехоньки бабы: палочку поставил. В конце года тетрадку с палочками бригадир выкидывал — все равно получать на трудодень нечего.

Бедность крайняя: лебеды и той не хватает. С тридцатого до тридцать четвертого корни разные, мякину толкли в ступе, крапиву ели. Полати, печь, стол, скамья, пол — не крашены. На себе — ремки; постелька — голая печь и полати, под боком старые валенки; рукавички,

шапка — это тебе на ночь подушка. Штаны из мешка, заплатанные пимы с ног отца, все лето босиком. С раннего детства пришлось уметь делать все по двору, огороду — мать строга была, да и жалели мы ее.

На игры детские времени не было: два летних сезона с братом Санькой, старше меня на год, пасли по найму общественное стадо овец — надо хоть на рубаху иметь к зиме. В школу — как штык, без единого пропуска. Но после семилетки, в 1935-м году, учиться дальше было не на что. Пришлось работать.

По просьбе матери сельсоветские согласились отпустить меня из колхоза, выдать паспорт, и я шестнадцатилетним был принят в редакцию Чашинской районной газеты «Сталинский путь» на должность заведующего отделом писем. Не знаю, за что меня редактор Насонова Августа Петровна оценила — то ли я ей «показался», то ли бедность нашу она пожалела.

Тогда же в редакцию пришел корректором Егор Нелюбин, чуть старше меня, секретарем редакции был Василий Александрович Тюменев. Хоть и не дружили мы с Егоркой, но вместе у Тюменева дома бывали, книги у него читать брали.

Образованный был человек Тюменев, культурный, эрудит, весельчак, с ним всегда было интересно. Бывало, сдвинув на лоб огромные очки свои роговые, он торжественно произносит:

— Навести большевистский порядок на своем большевистском столе!

И принимается за уборку, удаляя лишние, ненужные бумаги.

В ночь с третьего на четвертое июля 1937 года мы выпускали экстренный номер газеты, не помню уж по какому случаю. Сидим, всяк своим делом занятый. Ночью пришел милиционер и увел Тюменева. Через час пришли за мной. Можно было убежать, вела-то меня баба, предсовета Виноградова, но думал, ненадолго же, спросят что-то и отпустят — не украл же я, не ограбил...

Маленькое оконце одиночки вровень с землей, топчан без постели, бетонный пол. Сразу, как звякнул замок, стало слышно, как работает сердце... Мысли лихорадочно крутятся — как же так? За что?

Обыск. Забрали комсомольский билет...

Два дня спустя на допрос — руки за спину — повели.

Следователь Егоров, пожилой уже, давно не бритый, с серыми, без зрачков, глазами, в форме НКВД, достал из стола бумагу, посмотрел зачем-то в окно, словно полюбовался днем солнечным, докурил, бросил окурок в открытую створку и хрипло процедил:

— Так кто же похож на Карла Маркса?

В первую минуту я думал — дядя шутит, и промолчал.

Егоров круто развернулся от окна, осклабился его кривой рот с желтыми клыками, подошел, схватил со стола лист, затряс им под моим носом. Взревел:

— Что молчишь, сволочь контрреволюционная? Вот тут точно написано — помнишь, что говорил на бабоне двенадцатого июня?

Бабон я, конечно, помню. Бабон — это бревно, толстое, без коры, с дуплом, лежит оно уж много лет на берегу озера в заулке у огорода Арсенихи, на нем, обычно вечерами, собираются парни и девчата с гармошками, балалайками. А вот что говорил я двенадцатого июня у бабона — не помню, мы же там не молчим, целые вечера говорим.

— Помнишь,— напирал Егоров,— как ты, показав на Кольку Тимина, сказал: «Смотрите, ребята, он же на Карла Маркса похож».

Оправдываюсь: чем же, дескать, мог шестнадцатилетний Колеван (Колька Тимин — это Николай Тимофеевич Павлов, погибший на войне) походить на Карла Маркса? Маркс-то на картинках с бородой, а у Кольки и ус еще не проклюнулся... И вообще, разве плохо походить на великого человека? Ведь есть же у нас песня: «Мы хотим быть похожими на Ленина, на Владимира Ильича»?

Смотрю — лежит на столе папка, на ней крупно: «Уго-

ловное дело»... И номер... Значит, я преступник? Что это? Сон? Мистика? Нет — действительность. Сел Егоров, зачитал еще одну бумагу, а в ней сказано, что я и Нелюбин ходили к Тюменеву домой и тот подсовывал нам для чтения запрещенные книги Бруно Ясенского «Человек меняет кожу» и Виктора Кина «По ту сторону».

Это спустя десятилетия создадут фильм и Пахмутова напишет к нему известную песню «Забота наша такая», а тогда эти книги были крамолой, как и сочинения Есенина. Ну про Есенина мы и до того читали, что это поэт кулацкий, и книг его уж не было, а про этих — нет. Кто знал тогда, кого можно читать сегодня, кого завтра назовут врагом? Простое знакомство с «врагом» грозило клеткой: Тюменев, например, в бытность ответственным секретарем редакции Свердловской газеты «На смену!» знал Авербаха и Киршона — и того и другого «раздели», ну и Василия Тюменева туда же, как друга «врагов».

Беспризорником был Тюменев, рос в колонии, учился, потом жил в Ленинграде. Там ему в тридцать лет удалили туберкулезное легкое и посоветовали сменить климат, так оказался он на Урале.

Кроме прочих «великих грехов» нас обвинили еще в том, что мы будто умышленно хранили в подвале редакции клише с портретами «врагов»: Ивана Дмитриевича Кабакова, бывшего первого секретаря Свердловского обкома, Кузьмы Васильевича Рындина, бывшего первого секретаря Челябинского обкома партии, наркома связи Алексея Ивановича Рыкова. Таких клише в подвале валялось несколько ящиков, никто их много лет не перебирал — не знаю, были ли среди них те клише? Да и числились-то они на подотчете типографии, а не редакции. Но Егоров верил доносу Нелюбина, а не нам.

Прошел месяц одиночки. Привели наверх. Следователь положил на стол передо мной папку с «делом», прижал ее ладонью и многозначительно спросил:

— Брата жалко?

Я кивнул головой — да, подпишу все.

У Сани нога туберкулезная, шариком опухшая, в ранах... Пусть уж я один пойду по тернистым дорогам страданий.

Подписал «дело» не читая. Может, там было написано, что я крестник царя, подручный Гитлера и пил шампанское с самим Тухачевским... Мне уже было все равно — творись, воля божья, как говорили на Руси.

В то утро у ворот райотдела НКВД собрались родственники уходящих на этап — кто-то шепнул им об отправке. Стоит и моя мать с мешочком. Нас вывели, велели в машину залезать. Подошла ближе мать моя, просит конвоира сумку с сухарями передать, но тот не разрешил. Машина тронулась, и все провожающие заголосили — кто-то из них прощался навсегда. Двое конвойных сидят в передних углах кузова, оба они местные. Говорить нам запрещено, но по дороге уголовники меня спрашивают:

— Что, паря, впервой али поновой?

— Да,— говорю,— не бывал.

— Бить в камере будут, обычай тюрем такой — новеньких «посвящают в рыцари». Покажешь себя волком — уважать станут.

Шестьдесят километров по тогдашним проселкам «газон» одолел только к вечеру. Вот и город. Огромная вывеска на воротах: «Курганская тюрьма». Машина въехала в небольшой дворик, остановилась. Вылезли. Всех повели влево (может, все те были уголовники), меня одного направо, открыли дверь, втолкнули. Полумрак, «летучая мышь» на стене. Страшный подвал — что же это такое? Где же люди, те, что бить будут? Смотрю — пустой зал, лавки из широких досок некрашеные, шайки на них стоят деревянные: да это ж баня! В баню меня всунули, а зачем одного? Мыться, так не сказали, что можно, да и не топлено. Непонятно, почему не к людям. Дотянулся, взял фонарь, пошел через зал в темную половину, дверь там вижу — может, люди за ней? Жутко

ночью одному в бане. Открыл тихонько ту дверь — никого, шаек тут нет, зал маленький, без лавок. Махнул светом на стену, а она в крови, брызги свежие и след кровавый от пальцев рук — видно, падая, кто-то шаркнул по стене... Кожа моя сделалась теркой, хоть редьку натирай. На стене в штукатурке ранки кругленькие, как от пуль. Мелькнула догадка — здесь расстреливают людей... Скорей к наружной двери, да так и просидел с фонарем до утра.

На рассвете лязгнул замок, стражник гавкнул:

— Эй, ты, выходь!

Повели в саму тюрьму: узкий коридор, железные двери справа, слева, замки на них огромные, волчки в дверях, надзиратель ходит, в дырки те поглядывает — что там его подопечные поделывают? Вхожу, лицо зверское сделал, к бою готов. Но никто не подходит. Странно просто: сидят люди на полу, старые и молодые, в тесноте, полуголые — видать, жарко тут. Из дальнего угла зовут:

— Эй, хлопец, сюда иди, место тут есть!

С трудом выбрал пустотку, где бы ногой ступнуть промеж голых людей, пробираюсь к тем, кто звал, ожидая, что вот сейчас дадут по шее... Не трогают. Видать, и не собираются!

— Клади вот тут котомочку, присаживайся, а хоть и стой,— с улыбкой говорит лет тридцати пяти высокий мужчина.— Местечко хоть и не плацкартное, но для цыпленка хватит. Староста камеры я, Рычков, значит, Иван. А ты небось тоже с «пятьдесят восьмой»?

— Да, она,— говорю,— самая.

— А за что?

— Да понаписали там всякого, а я подписал не читая.

Сосед мой, дед старый, прикрыв рот ладонью, вздохнув, сказал:

— Батюшки, совсем детей сажать начали... Лет-то тебе сколько, паренек?

— Семнадцать.

— Ишь ты, уже контрреволюционер!

Это подковырнул Собин, потом узнал я его. Захохотали люди.

Назавтра первый для меня тюремный «шмон»: согнали всех с вещами в одну половину камеры, раздеться догола приказали. Стоим, тело к телу туго. Прощупали все узелки, штаны, рубахи — ничего недозволенного не нашли, скомандовали:

— Всем по местам!

А место свое знал каждый по соседям. Моим соседом справа оказался тот самый дед из Петухова — Дрон Ефимович Могутнов. Все расспрашивал меня о моей деревне, о семье, о себе говорил, о своих, называл всех поименно: сватов, снох, кумовьев, соседей, дочерей, внуков, сынов — много их у него было. А самому 75 лет!

— А ты, дедушка, за что? — тихонько его спрашиваю.

— А ишшо не сказали, опосля узнаю.

Но так и не успел узнать... Дней через пять, проснувшись поутру, чую — дедушка-то мой мертвый. Ах, дедо Дрон, не дали тебе умереть на воле, в остроге смерть твою ускорили. Унесли его бытовики.

Душно, вонько от параши, жарко, нечем дышать — в камере вместо двадцати по норме сидят две сотни узников.

Камера номер 22 тремя своими окнами выходила на улицу Советскую, углом на улицу Кирова. Метрах в двадцати — вышка, на ней часовой стоит, петлицы даже видно — «4ш». Нам разрешены шахматы, играющие пробираются ближе к окну — светлее, хотя окна-то невелики, метр на метр наверное. Сели и мы с Рычковым за партию,— сели, видно, недозволенно близко к окну. Часовому не понравилось, и он без предупреждения выстрелил в нас. Пуля прошла выше наших голов — в печь. Оба вмиг упали и, как кролики, прижали уши. Хорошо, что никого не убило. Часто потом играли мы и с Собиным.

Рычков и Собин работали вместе. Рычков, грузный, лет тридцати пяти, всегда веселый, был начальником Курганского лестрансхоза. В день, когда принесли ему обвиниловку, сник Иван, задумался: обвинение во вредительстве пахло вышкой...

Читал я, как и другие, его обвиниловку, все содержание ее теперь не помню, но ясно осталось в памяти одно: его винили в том, что многие рабочие ЛТХ ели не хлеб, а лебеду. Но разве одни рычковские лебеду ели? После засухи ее ели на Урале многие с тридцатого и до тридцать седьмого. Недолго после этого был Рычков в 22-й камере, после суда его поместили в камеру смертников.

Вскоре в тюремной бане расстреляли коммуниста Рычкова.

В уборную нас водят мимо камер смертников. Наши мужики изловчились, заглянули в волчок, увидели: во всех камерах сидят люди, ждут смерти... Рычков до ухода из 22-й сказывал, что тут теперь должны быть все восьмеро из группы Василия Реутова (бывшего секретаря райкома партии): Фоминых, Ханжин, Никулин, Серков, известный врач Державин.

После казни Рычкова никому более обвинительных заключений не давали, процедуру «набора голов» упростили: никакого следствия, никакого суда — судьбы людей решали Особое совещание и «тройка» УНКВД.

* *
*

Тюрьма курганская стояла на том месте, где ныне жилой дом с магазином «Луч». Главные ворота с вывеской там, где и теперь растут два толстых тополя. С угла тюремного двора от улицы Кирова находились другие ворота, через которые узники следовали на этап. В конце августа 1937 года вывели нас, человек пятьсот, через ворота и гнали колонной до вокзала. На первом

станционном пути товарные вагоны, в них нас и погрузили: никаких нар — хочешь сиди, хочешь стой. Стены вагонов в коровьем кале — видать, недавно в них везли скот.

Один аллах знал — куда повезут. Меж собой зеки молчат, боятся случайно оброненного слова, а вдруг рядом подсадная утка — сексот. Не боялись только вслух выражать надежду:

— Вот узнает об этом Сталин, и нас выгонят на волю!

И до конца 1939 года ждали, верили «отцу», вот он произнесет новую речь «Головокружение от успехов»... Но он, «отец», уже сказал речь перед избирателями Бауманского района, в коей ясно изложил намерение всех «противников власти» в смирительных рубашках прокатать на вороных.

После 1939 года все убедились: никакого пересмотра «дел» не будет, не затем сажали, чтобы отпускать, что все это не ошибка, а заранее спланированная, продуманная акция произвола, продиктованная Сталиным: ему нужны были миллионы дешевых рук, задавленных, сломленных, безропотных роботов, пóтом и кровью которых он укрепит свой режим.

Двое суток везли. Встал наш «пятьсот веселый», приехали, значит, куда — не видно, потом узнали — Челябинск. И снова: «Шаг влево, шаг вправо считается попыткой к побегу. При попытке к побегу конвой стреляет без предупреждения». Снова пеший строй через весь город. Бредем в пыльном облаке, понурые, голодные — пока везли, сутки ничем не кормили. Стоят жители на тротуарах молчаливые, угрюмые — ведут их врагов! А как же — все средства массовой информации нагнетали ненависть: «Разбить!», «Раздавить!», «Уничтожить!».

Одна старушка приблизилась, хлеб кому-то передать хотела, но конвоир не разрешил:

— Нельзя, кажу, заборонено!

А «заборонено» нам было все, не запрещено дышать,

но и то пока. Колонну во дворе разделили и начали кучами разводить по централу: коридоры в нем длинные, в них шагов через тридцать перегородки решетчатые из металлического прута в палец, с калитками, замками, с часовым. Пока дошли до камеры номер 8, за нами закрыли тринадцать замков! Боже ты милосердный, когда же мы пройдем их в обратном порядке и пройдем ли? Камера номер 8 Челябинского централа — это подвал, на тридцать коек рассчитанный, два окна метр на метр вровень с землей, шагах в пяти от них — дощатый забор в три человеческих роста, за ним — главная кирпичная стена — ограда. В камере, у двери, параша литров на сто, дощатые щиты на спаренных койках вместо матрацев, бетонный пол. Надзиратель с глазами хищного ястреба (мы его звали Рысь) открыл железную дверь — знакомая по Кургану картина: подвал полон голых людей, входить некуда, у параши даже стоят человек десять. Может, думаю, в другую камеру поведут, туго же тут, но нет, орет надзиратель:

— А ну, потеснитесь, гады, мать вашу!

Но «гадам» некуда тесниться, разве если штабелем лечь, как дрова. Тут подошли еще четыре мордоворота, и все разом стали вдавливать нашу группу (нас человек восемь) в камеру. Стоявшие у параши упали, нас давили, и мы свалились на них — куча мала. Рычат, жмут дверь надзиратели, прессуют. Один из наших не успел убрать от притвора ногу, и кости его хрустнули...

— Люди добрые, спасите, пустите ногу-то! Сломали ногу! Что делаете вы!

А люди, те, что за дверью, хохочут, пнули его ногу и закрыли каземат. Ори хоть сколько — не отопрут и врача не позовут. У стражников еще «работы» много — надо в другие камеры набивать людей. Людей — это по-нашему, по-ихнему мы не люди — скот. Только через два дня того, ломаного в дверях, увели. В камере так жарко, что бери веник и парься, душно — пахнет от параши и потом, углекислотою, кою мы выдыхаем. Вентиляции нет. Слышу крик:

— Миха, давай сюда!

Смотрю — ба, то ж Тюменев! Вот встреча! Идти к нему, а как? Ступить-то некуда. Сидят кто в трусах, кто в чем мама родила, сидят рядами так плотно, что руки им приходится держать перед собой (локти много места занимают). Спереди, сзади, с боков голые тела. Ты сидишь на своей котомочке, а поскольку она тощенькая, то колени ног твоих приходятся тебе к подбородку, и ты согнут, как йог. Хорошо еще, что живот твой пуст, в такой позе сытому бы хана. Но сытых тут нет. Стою в нерешительности — как же идти? А Василий опять:

— Пробивайся, Миха, сюда, смелее давай! Снимай обувь, клади в мешок, кидай его ко мне, сам вставай на четвереньки и дуй прямо по людям! Мы все тут так ходим! Не стесняйся, иди, ползи!

Разделся до трусов, вещички в сумку, Василию кинул, встал на четыре кости, пополз — кому на плечо, кому на горбину опрешься, никто не возмущается — такая тут «дорога», не по ковру, по живым людям, вернее, по человеческому мясу.

А он, Вася, сидит не на полу, на койке, тоже вплотную к соседям, через роговые очки свои смеется, рад, что земляк-одноделец пришел. Так вот он, Вася-Василек, где обосновался! Васильком его звала жена Маруся, сразу после ареста отрекшаяся от него, взявшая развод.

Две койки поставлены вплотную, щиты на них дощатые, никакой постели. Ложимся валетом (мы говорили «вальтом») — это когда твои ноги на голове соседа. Валетом укладывается больше, потому так и решили.

Мой Вася, значит, лежит вальтом с бывшим редактором областной газеты «Челябинский рабочий» Л. Сыркиным.

Сыркин — тощенький мужичок, но умный, деликатный с соседями. Тюменев высокий, полный на воле, каким я помнил его сто дней назад, стал длинным, похожим на гороховый стручок сразу после цветения... Люди с двумя легкими и то еле дышат, а у него одно, не вынесет он

этого ада. Это я про себя думаю, зеркала нет, и сам себя он не видит. Весь в лице он стал землисто-синим. Место для меня раздвинули возле изголовья Василия на полу. Я навалился голой спиной на облучок его койки. Тут, где я сел, вчера один умер. Спросил меня Вася тихонько:

— Не слыхал, Миха, как там мои?

— Нет,— говорю,— Александрович, не слышал, как увезли, так и глухо все — ни свиданий, ни передач, ни писем.

Так еще кое-что поговорили, вспомнили, но разговаривать тяжело, нечем дышать, да и небезопасно (сексоты могут рядом быть).

В камере днем полутемь, ночью глаза от ламп режет. Копошатся голые люди, как черви в консервной банке. Те, кто на койках, хоть и вальтом, все же спят лежа, те, кто сидят, дремлют, уткнувшись в свои колени или откинув голову на соседей, а возлепарашные дремлют стоя.

Под койками тоже жилье: там лежат вальтом по восемь человек. Я провел под койкой одну ночь и больше туда не полез, там вообще глухой бункер, сидящие вокруг плотно законопатили телами своими все щели. Подкоечные чаще умирают. В борьбе за выживание человек пойдет на все. И шли. Они, по согласию, скрывали мертвых, чтобы хоть раз получить на них пайку да разделить на всех. День-два спали рядом с мертвыми. Выходим на прогулку, а под койками лежат трупы.

— Что те не вылазят? — заорет отделенный.

— Да спят они, утомились,— ответят.

— Ну и черт с ними, пусть дохнут.

Места тех, кого выволакивали мертвыми, занимали околопарашенные, а их в свою очередь заменяли новенькие.

Трупы из камеры вытаскивали волоком. Делали эту «работу» уголовники. Они же, эти бытовики, варили баланду, резали хлеб и разносили всю еду по камерам. Среди «баландеров» были хищники, звавшие нас фаши-

стами, но был один и лояльный к нам, рыжий такой мужичок. Он завсегда при раздаче хлеба или баланды пошутит и улыбнется сочувственно — видать, жалел нас.

Баланда — это мутная, соленая жидкость с добавкой капусты или крапивы, иногда крупы-сечки. Баланду дают в алюминиевых мисках, ложки в них кидают, хотя, собственно, всю порцию, пятьсот граммов, можно выпить и через край — густого-то в ней нет. Второй баландер принимает и пересчитывает чашки, ложки. Переносят термос-бак к следующей камере и из немытой посуды кормят следующих.

Врачи в тюрьме, конечно, были, но этих «мелочей» не замечали и вообще к «фашистам» они не заходили, небезопасно жалеть «врагов», тут никакой клятвой Гиппократа не оправдаешься, да и зачем им нас спасать, когда все рассчитано на геноцид — на умышленное истребление. Во всех камерах больные дизентерией, туберкулезом находятся вместе со здоровыми, люди с кровавым поносом ходят в парашу часто, их в уборную не пускают. В камере восемь больных туберкулезом, трое — дизентерией. У нас сидит врач Бушуев, он, как может, советы больным дает, чтоб уберечь окружающих. Больных ничем не лечат, не входит это в задачу администрации тюрьмы — места много в старых силосных ямах возле села Шершни. За полтора года тюрем ни я, ни кто другой не были в бане, никто из врачей не спросил — может, вши у вас завелись?.. А мылись в уборной под краном холодной водой: снял с себя потную грязь, трусы помыл чуть-чуть и мокрые на себя. Друг другу быстро мыли спины. Польют тебе после нашей «черной бани» на хребтину ледяную воду и — готово воспаление легких, конечно, не у всех, были и крепкие, выносили все.

В уборную водят человек по тридцать. Можно было бы туда и не ходить, не с чего — желудок пуст, а вода из нас выходит пóтом, но идут все, кто идти может, идут, чтобы после этой грязной парной смыть с себя черный пот. У некоторых от этого пота на теле волдыри пошли,

зуд. Хлорки в уборной насыпано без меры, оттого дышать там невозможно, глаза из орбит вылазят, многие кашляют до крови. Тут и минуту пробыть тяжко, а нас держат десять. Иные сознание теряют в уборной, под руки их оттуда ведут. Люди слабые идут, за стенки держатся, кого-то качнуло к чужому волчку, он рукой его и задел. Надзиратель не зевнет — тут же врежет тебе в лицо связкой ключей, и потечет из тебя твоя последняя кровушка. Били нас ежедневно, с садистским наслаждением, били беззащитных, полуживых людей. Но если бы хоть так. Тут пытали! В кинокартине «Покаяние» показаны не все приемы этих пыток, их было больше, и способы изощреннее. Меня не пытали, не та птица, сопляк зеленый, не всех пытали и взрослых, но тот «полигон», крест, я видел не однажды.

Крест — это холл на перекрестке коридоров, в том месте стены скреплены растяжкой из прута толщиной в руку. На этих прутах подвешивали узников в разных позах — кого за руки, кого за ноги, других за руку и за ногу, тут же на полу валяются заделанные в смирительную рубаху. Рубаха эта наподобие комбинезона, только широкая. В нее завязывают «клиента», воду заливают, кладут на живот и стягивают ноги к голове.

В тюрьме около пятнадцати тысяч заключенных, потому не успевают за световой день вывести всех на прогулку. Стали гонять круглосуточно. Выходим ночью в коридор — вот он, крест... В ужасе проходим мимо — висят бедные, еще живые люди, глаза навыкате, пена с кровью изо рта, язык вывален. «Клиенты» свежие еще орут на весь этаж — кто маму зовет, кто бога, просто мычат остальные, уже доходящие до «кондиции»,— эти сейчас все подпишут. Идем туда — висят, идем оттуда — висят, и не поймешь в ужасе, те ли это или свежие — люди-то голые одинаковы.

Эти дикие «концерты» слышно было по централу часто, их не скрывали, видимо, для устрашения тех, кто еще не подписал.

Централ забит туго. При ночных прогулках с тюремного двора слышны гудки паровозов, стук колес поездов — значит, есть еще люди на воле, еще продолжается жизнь, работа.

Нас 286 узников в камере, рассчитанной нашими предками на тридцать персон. Сидим молча, для разговора нет воздуха, да и не о чем говорить — все боятся друг друга. Нельзя и жаловаться, что сидишь безвинно,— клевету тебе на Советскую власть припишут: кто же поверит, что в такое прекрасное, счастливое время могут человека ни за что арестовать? Сиди и молчи, размышляй про себя, жизнь свою по извилинам мозга гоняй и не ищи в себе ответа — что было бы, если бы не вот то или не это, если не так, а вот этак? Вор в тюрьме казнит себя за то, что не тот прием сделал, не с того боку на дело зашел, ошибся и «погорел». Ты не украл, и ты не найдешь в душе покаяния за что-то сделанное тобой против закона, ты сидишь и смерти смотришь в глаза, не зная, за что или, вернее, зная — за навет, подлецом сочиненный. Бог или черт нас покарал?

Вот они, мои соседи, слева, справа: еще живые, теплые их тела плотно ко мне прижаты, и пот их смешан с моим, и грязь на нас общая. Вечор сосед слева еще дышал, но как-то с перерывами — дыхнет, перестанет, еще дыхнет. Смотрю на него — скелет, кожей обтянутый. Он полтора года уж тут, лицо желтое, зубы от цинги выпали.

Поутру вывезли его. За ноги, волоком.

Из окон камеры, попеременно то из одного, то из другого, падает вниз струйка холодного, сырого воздуха, тоненькая такая ленточка-полосочка. Те, кто ближе к окну сидят, дышат, им легче. Жадно хватают ртом струю, когда она появляется, ближайшие соседи. Остальные видят — струя-то живительная, но одна на всех. Вскоре и той струи не стало: заложили окна кирпичом, от окна остались щели — кошке пролезть, снаружи надели железные зонты, сетки поверху. Снизу под зонт едва ладонь

пролезает, вверху от стены до кромки зонта с четверть. Зонты ставили, видимо, затем, чтобы узники не могли видеть воли. Видно, допустим, со второго и третьего этажей. Но зачем было закладывать окна на первом этаже? Ведь в пяти шагах от наших окон ограда тюрьмы. Все диктовалось ненавистью, расчетом подавить, унизить как можно больше. Они могли расстреливать нас из пулеметов у края рва, но смерть наша была бы короткой, легкой, а им надо было истязать, мучить и этим наслаждаться — ненависть коварна и границ не знает.

Закладку окон начали с первого этажа, и, пока каменщики работали на втором и третьем, сетки на зонтах нижних камер заляпали. Получился каменный бункер с человечьим мясом. Струйка-ленточка стала ниточкой. Через неделю умер Василий Тюменев.

До ночи мы еще с ним шептались, он говорил, что хочется выжить, увидеть дочь свою и за два часа до смерти верил в скорый пересмотр дел и в свободу... Я задремал немного, потом чую, трясет меня за плечо кто-то, обернулся — Сыркин.

— Миша, вставай, Василий умер...

Развернулся, растолкал соседей, пульс у Васи щупаю — мертв он. Что-то перевернулось во мне разом. Я стал взрослым. Когда умирает кто, камера затихает. Но надо покойного убирать. Постучали. Не сразу за ним пришли. Не дали мы с Сыркиным тело Василия бытовикам, потеснили сидящих и вчетвером вынесли сами в коридор. Положили в носилки, простились, зашли в камеру, Сыркин тихо сказал:

— Товарищи! Погиб еще один большевик, журналист, автор книги. Почтим его память вставанием...

Встали почти все, хоть нелегко было это. Тихо текли по нашим щекам слезы, сливаясь с таким же соленым пóтом...

В день смерти Тюменева, утром после баланды, староста камеры Василий Александрович Занин поднялся во весь рост, сказал:

— Тихо, мужики, послушайте, ребята! Давайте дышать струей у окна по очереди, по списку значит. Ясное дело, струя эта одна на всех. Иначе смерть. Давайте попробуем?

Никто не возражал — давайте дыхнем все. Только решили не по списку, а по рядам, как сидим, так удобнее ползти по людям к окну, легче будет сама процедура. И началось...

Это не представить, это видеть надо: голые люди по таким же голым ползут на четвереньках, падают и снова карабкаются, кому на шею коленом, кому на спину — лишь бы скорей к окну, скорей дыхнуть в предсмертной агонии, скорей глоток, еще глоток, а староста уже кричит — следующие!

На тридцать верст в высоту земная атмосфера, и вроде дыши все человечество в миллиарды легких — всем хватит, но нет, для нас этого воздуха нету! Кто ж он, тот жестокий человек, и человек ли он, тот, кто издал приказ лишить тюрьмы окон?

С неделю, наверное, продолжалось это столпотворение — витье червей в ящике.

Широкоплечий, чернобородый человек — он уже прошел «крест», все знали, когда он вернулся оттуда «слегка» помятый,— это был Ильин, он назывался членом партии ленинского призыва, бывшим комендантом московского Кремля. Встал он и рукой, уцелевшей от «креста», рубанул по воздуху, как на митинге:

— Товарищи! Видите сами, положение гиблое, а умирать нам нельзя — не прожили мы своей жизни, но ежели уж умирать — то не в одиночку, а всем разом. Пусть погибнем мы как люди, сраженные в борьбе! У нас теперь нет другого способа борьбы с произволом, кроме как немедленно объявить голодовку!

И он изложил причины. Десятки глоток гаркнули:

— Правильно! Давайте все вместе! Все едино задушат нас тут! Чем умирать мучительной смертью, лучше уж разом кончать! Лишь двое высказались против:

— Рано в могилу нам, ребята! Вы как хотите, а мы двое — отдельно, нету резону голодом себя убивать и оставлять семьи сиротами... Может, все без голодовки образуется?

Дернули их за трусы, усадили:

— Ишь ты — им жить хочется, у них семьи, свиньи! А на «крест» не хотите? А в Шершни досрочно не желаете?

Сразу же выбрали совет из пяти человек, который подпишет заявление о голодовке. В его состав вошли: от коммунистов Занин и Ильин, от комсомольцев — я и Петя Шмолин, пятого фамилию забыл.

На клочке бумаги простым карандашом Ильин написал заявление: «Первое: разгрузить камеру хотя бы наполовину. Второе: прекратить пытки, избиения. Третье: пробить в тюремной стене из коридора в камеру две дыры для вентиляции. Очистить сетки зонтов от раствора».

Поутру на верхнюю пайку хлеба Занин приколол нашу бумагу: «Хлеб не берем, камера объявляет голодовку».

Рыжий баландер удивленно вскинул брови и выронил:

— Как же так, робята, а?

— А вот так,— Занин развел руками.

Дверь захлопнулась, и стало тихо. В первые минуты не всем еще дошло до сознания, что голодовка для нас, людей изможденных,— это верная смерть через неделю. Сразу копошиться перестали, видимо, каждый думал о том, что только что произошло. Некоторые шепчут молитвы, другие плачут. Не взяли мы в обед ни хлеб, ни баланду — только воду. Утром следующего дня открыли дверь, и на пороге встал высокий, лет сорока, в белой куртке мужчина:

— Я начальник тюрьмы Барановский. Скажите, что послужило мотивом объявления вами голодовки?

Ильин высказал первое наше требование — разгрузить камеру.

Барановский скривил гримасу:

— Вашей сволочи, фашистов, у нас миллионы, и на всех тюрем мы пока не настроили.

Тут Ильин повторил остальные наши требования.

Барановский перебил его:

— Запомните, вы не имеете права требовать, вы можете только просить!

Помял в руках свои перчатки хозяин тюрьмы и предложил:

— Ну, а если я удовлетворю хоть одно из ваших требований — снимете голодовку?

Непреклонный коммунист Ильин ответил:

— Нет!

— Ну и дохните вы, гады!

Тюремщик ушел.

Что ждет нас в день грядущий? Кого последним отсюда уволокут? Сколько вытерпим голодом?

Где-то под койкой, слышно, плачут:

— Господи, мама родная...

На другой день Барановский появился снова, но только открылась дверь, Ильин бешено вскочил и басом запел:

Вставай, проклятьем заклейменный
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов...

Встали все, кто мог, гимн подхватили в сотни глоток, и не слышно было, что говорит начальник тюрьмы. Пели с остервенением обреченных, понимая, что нам уже нечего терять, кроме жизней своих, пели, как идущие в атаку на пулеметы. Казалось, еще миг и песня-гимн кинет разъяренных людей на штурм острога и сомнут узники телами своими решетки, раздвинут стены замка и разнесут его по кирпичу!

Решив, видимо, что мы спятили, тюремщик, сжав кулаки, ушел.

Вечером на третьи сутки открыли дверь и на виду у всех поставили носилки с хлебом. Хлеб этот хорошо было видно, поскольку стоявших уже не было,— они заняли места погибших. Нас поубавилось, но новых

к бунтарям не добавляют. Думали тем хлебом сманить, сорвать голодовку, но, вместо того чтобы взять хлеб, мы с Петькой Шмолиным запели:

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек...

В этот раз все уже петь не смогли, нечего брать в легкие, так «вольно мы дышим»!

Пели не всю песню, три куплета, все жиже и жиже голоса, умолкают люди, садятся. Хлеб унесли.

На пятые сутки голодовки распахнулась дверь и стражник по кличке Рысь гавкнул:

— На прогулку!

Идем, шатаясь, поддерживая друг друга. Что-то вроде дольше обычного ходим, заметно по кругам: раньше по пятнадцать делали, а сегодня тридцать два прошли и не гонят — то ли забыли, когда вывели, то ли... Чего это раздобрились? Заходим — батюшки! Поставлены козлы в коридоре, и четверо бытовиков долбят сразу две дыры в нашу камеру: один лом держит, другой по нему кувалдой бьет. Видим — сетки на зонтах чистят.

— Братцы! Вроде подалось! — шепчут люди.

Долбили весь день: стены-то метровой толщины. Потом стражник через волчок велел отодвинуться, камни сейчас падать в камеру будут. Верно, упали в камеру кирпичи. Дыры мужики оштукатурили, сетки в них заделали, это чтоб письмо в коридор мы не кинули. Дыры не велики, кошка проскочит, но потянуло в них — сразу легче дышать. Посовещавшись, на шестой день взяли мы хлеб. Голодовка кончилась: добились дыр, очистили сетки, будут ли бить, пытать — не знаем, только «угощать» ключами перестали и воплей истошных не стало слышно — то ли прекратили, то ли в другое место пытки перенесли. А рыжий баландер, тот, что к нам лояльный, воспользовавшись минутной отлучкой отделенного, успел шепнуть:

— Я сказал о вашей голодовке везде, вся тюрьма бастует!

По всему централу в эти дни были пробиты такие же дыры.

В 1946 году мы спросили пришедших в Куйбышев из Челябинска арестантов: целы ли дыры в камерах? Да, говорят, и зонты сняты, и окна расширены до прежних размеров. Острог парит по ночам, как прежде. Он проглатывает живых людей, высасывает из них соки, как спрут, и выплевывает кости. Этот гигантский хищник питается человечьим мясом и дышит по ночам горячим паром, устав от дневного обжорства...

Вскорости всех нас, подписавших заявление о голодовке, как зачинщиков, без вещичек и в карцер. Кто видал карцер в Петропавловской крепости, тому говорить не надо, что это такое: это каменный ящик с дыркой вместо окна, ни нар, ни печи, пол бетонный. Все мы в летнем, нас пятеро на пяти квадратных метрах.

Войдя в номер «люкс», я огляделся и первым сел к струйке у окошечка: после камеры-бани так хорошо показалось дыхнуть досыта этим сырым воздухом, но не учел я, что струйка та опасна.

К вечеру вторых суток ангина закрыла горло — нечем дышать. Бьют в двери ребята:

— Больного заберите!

Обычно чаще всего в карцерах сидят бандиты. Может, и отделенный не знал, что сегодня в кондее одни политические, не думал и фельдшер — пришел (он тоже из бытовиков), сунул термометр, а там на весь градусник жара. На носилки и унесли. Но от другого стражника легпом узнал, видимо, что несут-то не своего, а «фашиста», и велел бросить полутруп в сарай.

Потом... степь ровная и бескрайняя, насколько хватает глаз — никого. Но вдруг вижу, катится по степи лавина белых комьев. Они огромные, с дом высотой, словно бы нанизаны на общий стержень,— вал катится цепью, и нет промеж них разрыва — ни вправо, ни влево

цепь не обежать, она до самого горизонта. Вот она все ближе, ближе. На одном шару грязное пятно, похожее на человечью рожу со зловещей ухмылкой. Смекаю: между круглыми комьями пустота, если упасть точно — не раздавит. Вал передо мной, я падаю, он со скрипом прокатывается дальше... Пришел в себя, лежа на куче мертвецов, левая рука подо мной, правая вывернута, на ней лежит труп. Стал вытягивать, зашевелился, чую, живой я, в сарае где-то. Сзади слышу людской говор, подошли, полог сдернули:

— Ты смотри, падла, живой ведь, а? Во, сука, живуч! Вечор его мертвым сюда кинули, на дворе Покров, а он талый! Придется вынуть.

За ноги тянут, хохочут, на землю бросили. Поднялся на колени, думая — носят же они на шее кресты, попробую так:

— Спасите, Христа ради, ребята, живой же я!

— Христа вспомнил, фашистенок!

Следует дикий мат и пинок под зад. В бога я, конечно, не верил, но пусть, думаю, бьют, лишь бы в тепло увели. Подняли, двое повели, а двое оставшихся принялись укладывать трупы из носилок в штабель. В больницу кинули, вернее, пока в тамбур холодный, лежу, в голове то муть черная, то засветлеет, тогда вижу в небе крутящиеся самолетики. Пришли санитары, под руки схватили, в палату завели. Больница в тюрьме — это щитовой барак, с общими нарами из нестроганых досок, без постелей, на них лежат все на одном боку впритирку в своих одежках — кто в чем — еще живые люди. Раздвинули, лег и я на бок туго меж соседями. Дали красного стрептоцида, глотнул. Опало в горле через неделю, увели обратно в восьмую. Можно было соврать, когда спросили, из какой камеры, но в восьмой осталась моя котомка, в ней материна фуфайка, а как без нее — осень, ну и соседей знал, Сыркин там, другие, с кем успел познакомиться. Долго еще сидел в восьмой: всю зиму 37-го на 38-й, все лето 38-го до ноября. Оставшиеся

в карцере мои однокашники так и не появились в восьмой — или в другие камеры попали, или погибли там, только вещи ихние до конца тут лежали.

Уходили этапы на север, меня врачи браковали — после ангины сделалась водянка. Я уж и рад бы отсюда хоть на Колыму, откуда редко возвращаются, хоть к черту на кулички — лишь бы на воздух, но не берут. Ясно, мстят за голодовку, в воблу нас высушат, ненависти в них хватает.

К ноябрю 38-го рядом с централом бараки настроили, тюрьму тут пересыльную открыли. Это где-то недалеко от Челябинской ГРЭС и железной дороги — видать в окна составы и электростанцию в дыму.

Зонтов на окнах тут нет — курорт! Двор огромный. Выгнали нас тысячи две разом, стол поставили, за него встали двое в форме НКВД, вызывать начали: Иванов, Петров, Самойлов, приготовиться таким-то... Это чтоб быстрее. Подходят зеки к столу:

— Фамилия, имя, отчество?

Отвечает.

— Распишись, тебе определен срок 10 лет лишения свободы.

Старик один, глухой видать, когда ему «червонец» зачитали, руку к уху и мирно так спрашивает:

— А скажи, мил человек, суд-то когды?

«Судья» только улыбнулся — чего зря наивному колхознику толковать, что никакого суда не будет, вот это и есть весь «праведный», распишись и отвали. Маловероятно, чтобы все эти тысячи дел «тройка» успевала читать, да и зачем ей это? Все равно ведь меньше десяти не давали. Ссыльные из «Детей Арбата» по сравнению с нами были счастливчиками — у них же «изба была теплая, в коей жить можно». Построили нас по четыре, напомнили «шаг влево, шаг вправо»... И повели.

Снега еще нет, пыль под колонной клубами, нечем дышать. Снова телячьи вагоны — вонь, теснота, стук колес. Дорога. Сутки ничем не кормили. Привезли.

Идем такой же пылью по Магнитогорску, наш курс — тюрьма. Двухтысячная колонна. Холодно, ноябрь уже, мы в летнем: на мне фуфайка матери, сандалии на ногах, на голове ничего. Загнали в тюремный клуб голов, наверно, с тысячу. Окна тут большие, без зонтов, хотя и с решетками. Нар нет, но мы рады — воздуха много! И оказались мы в той камере рядом с Борисом Кривощековым — поэтом Ручьевым, воспевшим Магнитку. Набирали этап. Боря ушел на Оймякон...

Встретились с ним в гостинице «Москва» в Кургане где-то в 1964 году. Он ведь наш земляк, из Боровлянки, был здесь несколько дней, стихи свои читал. Его представили на премию им. Горького...

* *
*

Вот и конец 1938 года. В этот новогодний праздник и нам подарочек — теплушки и грохот колес, на тысячи верст дорога...

Раз в сутки дают еду, питье редко. В телячьих вагонах печки топим углем, зима. По названиям станций видим — везут на север. Смотрим в окна — люди идут, смеются, музыка где-то играет, жизнь идет своим чередом: текут в моря реки, сеют и убирают хлеб, сады цветут где-то, плавится сталь в мартенах, дети мелом рисуют на асфальте, и где-то счастье есть на планете Земля, а нам все еще не верится, что придется отбыть сроки, зачитанные нам без суда.

Зимой 1939 года нескольких членов партии освободили. И все. Мне в 1948 году, десять лет спустя, скажут, что осенью тридцать девятого в моем селе допрашивали обо мне троих старейших членов партии — неграмотных мужиков, которые показали, что в моем прошлом есть что-то темное. В 1921 году, когда мне было... два года, Федот Сафронович, троюродный брат отца, неграмотный старик, под дулом обреза запрягал свою лошадь и за

30 верст возил петуховскую банду, ямщиком один раз был у них. Его, Федота, Советская власть не наказывала, он не стрелял, телегой только правил, зато вину того Федота мне приписали, вроде я, значит, бандитский выродок. Аж вот как! Что отец воевал за красных, что мать 8 лет заседателем райнарсуда была — не в счет это, а вот Федот с кобылой — это козырь против меня. Судили, видимо, рядили и решили: виноват. И дело в архив. Сиди, милый, и не вертухайся...

На железной дороге, ведущей в Архангельск, есть маленькая станция Волошка. Сюда нас и привезли. Вылезли из теплушек, топчемся на снегу, греемся. Порвал запасную рубаху, ноги ею обмотал, на голове картонная коробка.

Вася Вшивцев, сосед и дружок мой по вагону, в такой же почти «форме», но шутит:

— И вышли мы с амвона — на одной ноге лапоть, на другой консервная банка!

Шуточки ему, черту, а тут не до них — хоть бы поскорей в барак увели. Снег рыхлый, идти худо, у моего сандаля лопнул ремешок, на ходу его взял в руку, а нога в одной ситцевинке, почти босая.

Бараков тут настроено много, видать, с расчетом, ждали пополнение, палатки огромные из брезента поставлены, в них печки-буржуйки. В одну из таких палаток завели и нас. Сразу греть ноги, хоть в топку их суй — не чуют жары. И топим печки эти беспрерывно, а тепла нет — брезент не бревна. Ветер треплет брезентовые стены, болтаются и стучат они по каркасу нар. Нары сплошные из сырых нестроганых досок, постелей никаких, изнутри теплая влага конденсируется и ночью замерзает. Ложимся спать не разуваясь и не раздеваясь. Утром встаешь — шапка к брезенту примерзла, еле оторвешь. Столов в палатке нет, умывальников тоже. Выдали на второй день спецуру — телогрейки и брюки ватные, б/у рукавицы, шапки, чуни и лапти на ноги. Впервые за полтора года погнали в баню.

Чуни — это стеганные на вате чулки, неуклюжие. громоздкие, годные на слона, их еще бахилами звали. СП — это собственного производства обувь. Шили ее из содранного корда старых автопокрышек: верх из тонкого, подошва из протектора, так что пройдешь в той обуви, как на тракторе проедешь, след за тобой машинный остается. Эти СП летом дают, зимой — чуни и лапотонцы.

В Волошке целлюлозный завод строить начали. Тут, считай, одни зеки, вольные только начальники. Мастеровых людей с Урала привезли много, всякие спецы есть, все умеют, все делают на совесть, не могут они иначе, да и нельзя делать худо — вредительство припишут, в тюрягу обратно закинут, срок добавят. И такое было. Мы с другом Васей, Василием Васильевичем Вшивцевым, рабочим из Челябинска, попали в пару — впряглись в носилки. Носили бутовый камень в котлован, где мужики фундамент выкладывали, сказывали — под главный варочный котел, в нем из древесной щепы будут варить целлюлозу. Вроде просто все: клади камень в носилки, подымай, неси, сваливай, но не просто это для нас, обессиленных тюрьмами людей, притом еще у Василия нет большого пальца на левой руке. Он зараз и придумал:

— Давай, Миха, поищем обрывки проводов метра по полтора длиной, на концах петли завяжем да через шею будем надевать на ручки носилок, получится нечто похожее на ярмо быка — цоп-цобе!

Попробовали — легче рукам, груз-то на шее висит. Десятнику из вольных показалось — мало мы носим по одному камню.

— Чо, в кондей хочите? — пригрозил.

Стали мы по три, по четыре носить камушка. Идем, запинаемся, ноги шатаются, упали — и камни в сторону, при этом ручка носилок, выпавшая из беспалой Васиной руки, отломилась. Вылезли мы из ярма. Десятник видит — носилки сломаны, подумал: специально мы это сделали, чтоб, пока ремонтируют, передохнуть, подбежал, схватил провод и огрел им Васю. Кровь брызнула, зажал

Вася рану рукавицей, злобно смотрит на надсмотрщика. Бригадники закричали:

— Что делаешь, гад! Видишь, у человека пальца на руке нет, нечем ему держать! Обнаглели, фашисты!

Десятник быстро удалился, мог и по шее получить. Гнев-то в узниках закипел! А озлобленные наши уже тихо:

— Надо было кинуть его в котлован и забутить! Тыщу лет не нашли бы в фундаменте!

Люди, некогда мирные, за годы тюрем остервенели, ожесточились, стали решительными, насилие вызывало в них естественный протест.

Василий старше меня, ему под тридцать, но прильнули мы друг к другу, как ровесники, и на работе, и «дома» вместе. Все о себе друг другу рассказали, тихонько, без лишних ушей.

Вася в шестнадцать лет при колке дров на левой руке палец себе отрубил. Бывало, спросит «бугор»: «Как дела?», а Вася над левым обрубком щепотью правой шевельнет и со смехом скажет:

— На этот палец с присыпочкой!

Не унывал никогда, веселый был человек! Троих детей в Челябе оставил.

— За что срок, говоришь? А за соседа...

— Ты что, за хулиганку?

— Да нет, за политику тоже, по пятьдесят восьмой. А вышло так: сосед мой норовил в удобном месте бабу мою за груди схватить, ну она и пожаловалась — проходу нет, дескать, постращай его. Ну, я вечерком за сарайчиком и сотворил ему «темную». Он побежал в НКВД, донос написал, будто я власть ругал матерно. А там не докажешь, что тех слов не говорил,— бумага есть, и все... Так что, дружок, поносим, значит, камушки, отрабатывать должок надо: в тюряге полтора года нас питали бесплатно, грели, совесть знать надо, вкалывать теперь за «курортное» содержание. А вообще-то я штукатур-маляр классный. Со знаменитым мастером работал, у него и насобачился.

Про детей говорить начал, на меня не глядя, потом смолк, подумал чуток и со вздохом сказал:

— Вот смастерить бы такие крылья да с лестничной клети — выше тайги, улететь на волю...

А я подумал: он впрямь на побег целится, тогда уж вместе... Может, спросить? Но он более про полет не поминал.

В палатке нас две сотни душ. Хоть и тихонько вроде разговаривают, а все равно до отбоя беспрерывный гул стоит. Все двести — это мы, «враги народа», воров средь нас нет, их в наш «дом» не пускают — дневальный зорок, своих знает, чужих, блатных — в шею. У нас спецзона. Это лагерь в лагере, шесть таких палаток огорожены колючей проволокой. Ночью мы под замком, как в тюрьме. То ли нас боятся, как чумы, то ли пещерная ненависть эти меры диктовала?

Месяц уж мы эти камни носим. А Виталий Черный, бывший студент Харьковского института физкультуры, наш сосед по нарам, носил на «козе» по двадцать кирпичей на шестой этаж! Сила у парня была лошадиная — мало он побыл в тюрьме, не высох.

* *
*

В начале марта нас с Василием на этап и в дорогу. Человек сто пешим строем в тайгу погнали. Дорога убродная, снег что глина, вязкий, идти тяжело. Не дай бог поскользнешься и полетишь в сторону — убьют сразу: ты же шаг в сторону сделал. Верст двадцать шли, весь день, а день-то тут в эту пору с гулькин нос. Так и пришли ночью. В бараки деревянные расселились, нары «вагонка» в них, столы вдоль, даже умывальники есть. Там, в Волошке, снегом умывались.

Тут пункт Каргопольлага. Заключенные лес пилят, кряжуют на бонэ, подтоварник, пиловочник, баланы и дрова. Уголовников нет, одни политические, работяги —

люди, только острогами в воблу превращенные. Среди нас есть инженеры, врачи, учителя, металлурги, летчики, колхозники, словом, всякие умные люди. Им предстоит пилить тайгу.

Зона вокруг этих десяти бараков ветхая, тын какой-то, зимой его перенесло — чуть вершинки из сугробов торчат. На углах вышки, стрелки на них в тулупах бацают. Снег в тайге заменяет кандалы: он по пояс и рыхлый, без лыж далеко не уйдешь. Вот татарин Шайгарданов убежал, поймали его, изувечили, на всю жизнь калекой сделали. На единственной отсюда дороге в Волошку стоит избушка, в ней пост, никто не пройдет.

На деляну ходим без охраны: посчитают утром побригадно, выйдем за ворота, даже дико становится — за нами нет стрелка! Версты две туда топаем, дорога рыхлая, накат на ней не держится, идти плохо. Собрал нас десятник Данилов, взял топор, показал, как надо подрубать ствол, чтоб упал он в нужную тебе сторону, как пилить, чтоб не жало.

— Бойся! Бойся! — кричат соседи.— Бойся, бойся! — справа и слева. Житуха хоть и подневольная, а бояться надо — вдруг доживем до свободы? У соседа ель вывернулась и летит на тебя, снег-то рыхлый, прытко не отскочишь, значит, смекай, под какое дерево, лежащее поперек к тому, летящему, нырнуть, чтоб не убило. Одного при нас проткнуло сучком насквозь. Семье даже не сообщили — «заборонено». Пилим с Васей, пилим, а нормы нет. Норма, она на быка здорового рассчитана. Поперечкой работаем. Лучковых пил на всех не хватает, да и не сможем мы ею, сноровки нет, тяжело — в наклон стоять надо, а согнувшись, у нас голова кружится. Пни высокие оставлять не разрешают, наших соседей Данилов дважды заставлял спиливать чурки с пней. Лопат нет, снег глубок, отгребать его от дерева приходится ногами. А лапти не заменят, пока не выйдет срок, на который их получил. Наш рабочий день двенадцать часов. Вечером, идя «домой», зеки несут метровые чурбаки дров.

На них десятник делает затесь и пишет справку — выполнена ли норма. Дровами теми в лагере топят печи, нам с Василием и еще восьмерым десятник написал: «Нормы нет». Пришли с поленьями к вахте, стрелки посмотрели их, велели бросить в общую кучу, самим в стороне стать. Стоим ждем, прыгаем, ноги-то мокрые, в чунях пичкает, лапти дырявые. Вот уже все прошли, ворота закрыли — нас в тюрьму ночевать не пускают. Что делать? Побрели ночью в деляну обратно. Темень, но с дороги не собьешься, она корытом, сама в деляну приведет. Костры наши еще не потухли, добавили в них дров, бревна вокруг подкатили, греться сели — брюхо греет, спина мерзнет. Ветер поднялся, тревожно шумит тайга, снег с деревьев роняет. Есть хочется, что бы жевнуть? Миша Манушьян жует листья березы, жуем хвою, поят же нас от цинги, значит, есть в ней что-то питательное. Противна хвоя, а жевать надо — в животе пусто, да и челюсти у всех шатаются, кровь из десен сочится. Ночь дьявольски долгая, сто раз перевернешься на бревне у огня. Один задремал и упал лицом в костер, да так и не спасли его, от ожога он скончался.

Утром пришли бригады, повал начали.

— Бойся, бойся! — со всех сторон, а мы сидим — бесполезно начинать, все равно не евши нормы не одолеть. Ближе к вечеру подходит дядька один, улыбается:

— Шо, кажу, зажурылись, хлопци ви гарние?

— Да вот,— гутарим,— не могем.

— Нэзлякайтесь, несите ось ции办 дручки до мене, я вам зараз ксивы и зроблю.

Принесли мы поленья — кругляки, затесали на них лысины. Он достал карандаш и за минуту все написал справки и роспись учинил, точно как у десятника. Так мы прожили с его туфтой три дня. Художником он был в Киеве, позже узнали мы. Погорел позднее на этом, и в кондей его на десять суток закинули. Когда вышел, многие отрезали от своих паек кусочки и отдавали ему, пока он вошел в норму.

Обеда в тайге не давали. Идешь утром, берешь часть горбушки с собой. Днем ее мерзлую грызешь, либо подогреешь у костра и со снегом съешь. Бахилы наши мокрые всегда: днем, пока работаешь, ноги греются, да и у костра их растеплишь, влага в них теплая делается, хлюпает даже, а погода минус двадцать. В зону придешь, в сушилку чуни повесишь, они там к утру чуть-чуть потеплеют. Где же им высохнуть в туго набитой камере. Сырые их на ноги и на развод. Топчемся у вахты, мнемся, прыгаем, ноги к чуням примерзают, ждем очереди на выход. Хоть бы скорей в дорогу, на ходьбе бы согреться.

Считают нас на вахте не один, а два стрелка, каждый на свою фанерку записывает. Сосчитали, прошла бригада, кричат:

— Стой! Назад!

Еще раз пересчитывают, потому что точно сосчитать до двадцати трех они не могут. А кто грамотный сюда пойдет? И берут в стрелки тупых, ограниченных людей, лишенных всяких положительных эмоций, делающих все не рассуждая,— любой из них годится в палачи.

За сто процентов нормы дают 800 граммов хлеба, талон с премблюдом (премблюдо — это двести граммов каши из сечки), но это премблюдо зарабатывали редко, чаще только черпак баланды утром и вечером. Вася мой курил, я — нет. Пока он дымит самокруткой, я бревна меряю, считаю, выйдет ли ныне норма. Нет, надо еще вон ту, толстую, завалить, раскрежевать, хотя уже скоро семь, в рельсу вдарят. Выходных тут не бывает, никто не скажет — отдохните...

* *
*

Ближе к весне, когда снег в тайге осел, нас снова взяли под охрану. В деляне старший конвоя пройдет на лыжах по прямоугольнику, след сделает, объявит: «Это запретная зона!» Мы работаем, стрелки по углам

у костров греются. Видит один из них — совсем рядом узбеки лесину пилят. Он им кричит:

— Ээ, юлдашляр, кеть-кетти, сучка неси немножко! — и показывает на хворост за следом. А как только узбек след переступил — стрелок его бах из винтаря. Стрелкам за убитого при попытке к побегу платили. Шариф, напарник убитого, схватил топор и пошел на стрелка, тот орет:

— Стой! — Пятится, целится, выстрелил мимо. Шагах в пяти Шариф остановился, бросил топор, вернулся к русским лесорубам. Лег на бревно, зарыдал. Хоть и плохо говорил по-русски, поняли мы, что у убитого осталось пятеро детей... Рыдал Шариф, рыдал, встал, утер черной ладонью слезы, влез на высокий пень и запел. Наверное, был он артистом — такой у него чистый баритон. Другой узбек, стоявший рядом, в слезах говорил нам, что поет Шариф о Родине своей, такой теплой и ласковой и такой безвозвратно далекой, о семьях родных... Может, никогда больше не увидеть их... Поет Шариф солнцу, а слезы текут по черным щекам. Руки его скрещены на груди, рваная телогрейка запахнута, на ней нет пуговиц. Все ближайшие лесорубы-узники подошли, сняли шапки, стоят, горем Шарифа и Кюльджана пронзенные... Судьба ты, судьбина окаянная... Скоро съем, придет Данилов мерять. Расходиться начали, инструмент спрятать надо, дровину для справки затесать.

Начинается буран, ветер свирепеет, снег сплошной пеленой. Идем в зону, растянулись, отстали многие. Стрелки орут:

— Стой!

А впереди не слышно, идут зеки дальше. Тут все три стрелка выстрелили вдоль всей колонны трижды, пока колонна остановилась. Двоих убили, четверых ранили. Подтянулись, дальше пошли. Раненых повели, убитых взять не разрешили. Мы уж знали — бросят их в снег, мясо звери огложут, кости по весне сами в лабзу уйдут. Тут всех так хоронят.

К вахте подошли озлобленные, заорали:

— Начальника ВОХРа сюда! За что людей убили, изверги!

Прибежал начальник охраны, успокаивать стал:

— Разберемся, виновных накажут, по закону поступим!

Зашли в зону, и до отбоя гудели бараки негодованием. Раненых лекпом перевязал, двоих увезли в Волошку. В формулярах убитых напишут «Умер от прободной язвы желудка». Приехал на деляну в кошеве вольный начальник лестранхоза, ему мы пожаловались о вчерашнем. Он обещал написать в Москву, но вряд ли осмелится: за воров ему было легче заступаться, они свои, а мы вроде как германские, мы — вне закона. Судили тех стрелков или в другой лагерь перевели, мы не знаем. Только не стало их в охране.

Ели мы с Василием из одного котелка, первое и второе брали в него гамузом. Сегодня его черед идти на кухню. Вбегает, котелок на нары, сам ко мне:

— Тихо,— руку ко рту,— приехали с Волошки, строителей записывают, бежим скорей, запишемся!

— Так я же,— мнусь,— не строитель...

— А я что, не друг тебе? Я-то строитель! Пошли скорее! Надо же отсюда вырываться, иначе — трясина...

Подходим, Вася смело:

— Вшивцев Василий Васильевич, штукатур-маляр шестого разряда!

— И я тоже штукатур,— робко говорю.

Записали. В формуляр, видать, не заглянули — кто есть кто.

На Волошке попали уж мы не в палатку, а в барак, в бригаду штукатуров Василия Ивановича Абрамова. Вася, дружок мой, смекнул сразу: взял фронт работ в подвале ТЭЦ. Там надо было скрытно научить меня.

На второй день я уже кидал мастерком на стену, на третий — в ус, в разрез и на потолок! Даже цитовским ковшом! У Васи улыбка до ушей:

— Помнишь, как боялся записываться?

Спасибо я ему не говорю, просто положил руку на плечо и крепко сжал. Пока подвал делали, я стал штукатуром без всякого ПТУ. Позже Вася брал самые сложные работы: штукатурили под правило, по маякам, делали шаблоны и тянули карнизы, углы разделывали, виньетки на потолках. Васе хотелось успеть научить меня всему, что знал и умел сам.

Между тем нас двоих стали посылать на самые сложные работы в других местах. И повезли нас по лагерям, опытом делиться: в Коноше, Ерцево, Няндоме, Вандыше.

Половину лета сорокового мы на малярке. Дружок мой это дело знал дотошно и все, что знал сам, передавал мне. Поедим, бывало, вечером, выйдем на завалинку, сядем. Вася говорит-говорит, палочкой на земле рисует, я запоминаю все, писать конспекты лекций не на чем.

На всю жизнь пригодилась мне Васина наука. Собственно, от Василия Васильевича, светлая ему память, стал я строителем навсегда...

* *
*

А вышло дальше так, что разрознили нас с Василием: котелок наш общий ему я оставил и слезы свои на его щеке...

Его бригадиром назначили, меня на этап и в Куйбышев. Не одного, конечно, везли, а в теплушке, гамузом. Снова дорога в неизвестность, в чужие края.

Целый состав заключенных выгрузили в Безымянке. Бараков лагерных много. В них разместилось все многотысячное войско работников.

Безымянка в те годы стояла в двенадцати километрах от города. В голой степи строятся заводские корпуса. Все это руководители страны предвидели: в начале войны в эти цеха эвакуировались сразу три завода — два авиа- и один моторостроительный. Возле лагерной

кухни на столбе репродуктор. Из него узнали о войне. Гитлеровский фашизм был врагом нашего государства, следовательно, врагом и нашим: хоть мы и лишены свободы, но мы же сыны Отечества. Многие из наших, в том числе и я, подали заявление об отправке на фронт, пусть даже в штрафные роты, но нам даже не ответили. А мы хотели смертью своею доказать, что мы не чужие.

Не знаю, как другие, а я помнил совет Никколо Макиавелли:

«Когда речь идет о защите Родины, должны быть отброшены все соображения о том, что справедливо и что несправедливо, что милосердно и что жестоко, что похвально и что позорно. Надо забыть обо всем и действовать так, чтоб было спасено ее существование и была неприкосновенной ее свобода». Наши перестали писать жалобы — не до этого теперь, не до разборов,— надо воевать и работать.

* *
*

Стройплощадки находились в одном огромном, наверное в двадцать квадратных километров, оцеплении колючей проволоки. Туда каждое утро через свои КП выпускали десятки тысяч заключенных из примыкающих к оцеплению лагерей. Трудились на стройке все вместе — и вольные, и заключенные, позднее и пленные немцы. Внутри зоны мы могли свободно ходить с одного завода на другой, но без дела не шатались, некогда было, работать надо.

Кормили так. На блюдо первое была крапива жидкая, на второе — крапива густая. Крапива служила основным продуктом питания с начала войны и до сорок седьмого года, когда я уехал. Крапиву летом в Жигулях заготовляли и сушили впрок команды временно нетрудоспособных (КВНТ), куда списывали больных дистрофией — крайней степенью исхудания. Доходяги-дистро-

фики ели в лагерях крыс; замкнутый чертов круг, из которого они не вырвутся — сначала они худели потому, что не хотели работать, потом, когда повисла кожа на костях, они, может, и хотели, но не могли уже работать. И мясо крыс не спасало — гибли они все равно.

Наши, «пятьдесят восьмые», крыс не ели. Самой большой пайкой был килограмм хлеба, его зарабатывали, конечно, тоже не все. Приварок хоть и крапивный, но даже в блокадные дни Ленинграда эта пайка в лагерях Куйбышева не уменьшалась.

* *
*

Летом сорок второго, когда немцы свирепствовали у Волги, вся территория лагерей была изрыта в щели: придешь с работы, поел, бери лопату и рой. Копали долго, а воспользовались щелями только раз. Часа в три ночи забухали зенитки, и кто-то скомандовал: «Всем в щели!» Побежали. Сидим, в небо черное смотрим. Разрывы от снарядов сплошь, и «лает» почти весь город. Где же фрицы? Ничего не видать, только четыре тяжелые взрыва где-то невдалеке ахнули. Стихло все скоро. Наши заводы не задело. Я говорю «наши», потому что мы их строим. Вот и полвека спустя, проезжая мимо Безымянки и Кряжа, я зову к окну вагона жену:

— Смотри, скоро мои заводы!

Безымянские заводы еще строятся, но уже выпускают самолеты. «Илы» делают из фанеры, только кабины из дюраля да каркас крыльев. Примут летчики наши штурмовики, махнут крыльями над заводами и с ходу в бой — фронт-то был близко.

Мы лазаем наверху, фонари доделываем, внизу станки работают, мусор на них падает, но никто из вольных не возмущается — хорошо, если еще не целый кирпич на горбину свалится. Вначале мало штурмовиков делали, потом наловчились — поперли «Илы» на фронт.

Прибыли этапы осужденных за опоздания на работу: за двадцать минут — год лагерей. Мужчин загоняли к нам, женщин в женскую зону, где держат жен «врагов народа» за сокрытие «преступлений» мужей. Их так и звали — «знала, да не сказала».

Во многих местах на заводах стоят зенитки. На них солдатами в расчете одни девчонки. Прилетел как-то немец-разведчик днем, высоко гад забрался, наши ястребки и пушки достать его не могут. Он блеснет крылом на развороте, и опять его нет, хотя небо чистое, только черные лохмотья взрывов застилают его. Девчонки из рядом стоявшей пушки тоже палят.

Пушки смолкли. Больше в Куйбышеве немцы не появлялись.

* *
*

Я и напарник, Валентин Пономарев, штукатурим парапеты боксов на крыше испытательной станции завода. Парапеты выше крыши на метр. В обычном месте их покрыли бы железом, но здесь этого делать нельзя — вихрь от винтов сорвет обделку. Тут все надо цементировать и железнить прочным раствором, устойчивым к атмосферным осадкам. Парапеты из красного кирпича, а он пьет воду из штукатурки, тут не зевай, успевай затирать. Скоро рабочему дню конец, а у нас с Валей еще метра три не затерто. Оставить назавтра — засохнет, накрывать надо будет, а накрывка по сухому может отлупиться.

— Давай дотрем,— говорит напарник,— пока все пройдут, наши на вахте постоят, мы и подбежим.

Затерли, терки кинули и бегом на вахту, в тюрьму торопимся, воля наша дневная кончилась. Подбегаем — одна наша бригада стоит, мужики нервничают, стрелки матерятся, злые-злые. Построились, прошли ворота. Нас с Валей по ту сторону задержали и повели. Думали

к Тавлинскому, начальнику лагеря, нет, прямо в кондей, без приказа. И не сказали, на какой срок. Вышли из кондея через пять суток, животики к позвонкам подвело, «давать» надо, а не с чего. Пожалела нас бригада, вкалывала за нас, пока мы очухались, от паек своих куски отрезала.

* *
*

Залезли мы с Валентином доделать те парапеты, за которые откондехали по пять суток. Сделали все как надо. А мотор на стенде то взревет с окаянной силой, то чуть воркует на самых малых, то замолчит. Вот он замолкать стал, вроде ветер тише, Валька и кричит мне в ухо:

— Изнутри-то отмазку проверить надо, как получилось?

Смотреть в бокс опасно, но надо. И только мы свесили туда свои туловища, испытатель дал полный газ, нас как пушинки сбросило с парапета. Валька упал удачно, на крышу, меня угораздило затылком о железный ящик. Колечки обручальные в глазах забегали, зазвенели, а Валек тормошит:

— Рельса звякнула, иттить надо.

Волжанин, он всегда говорил «иттить», а не «идти». Мне свет белый в полушку сделался, идет все колесом, мутно перевертывается. Лежу, чунаю. Вот вроде лучше, пошли. Через КП Валек меня за локоть держит — вдруг качнусь, сочтут пьяным и — «в люкс». Отошли от вахты шагов сто, тошнить начало, постояли у столба, дальше двинулись. Видно, сотрясение мозга было.

Утром пошли с Валей к лепному, он посмотрел и изрек: «Не коси!» Но я и не собирался «закосить» освобождение, я в самом деле не мог идти.

Не ходить на работу, другим врачам показаться, но это сложно: утром в зоне их нет, на разводе один лепном,

который сам из уголовников, он нашим поблажек не давал. Нет освобождения от легпома — вкалывай. Самовольно останешься от развода — жди, вначале тебя нарядчик «слегка» потянет за ноги с нар, а там либо кондей, либо режимная бригада тебя ждет. В карцере (кондее) просто сидят, в режимке работать заставят, а заставлять там умеют... Режимка — это пекло, дно, клоака, тартар. Режимка в отдельном бараке, в одной зоне с кондеем. Для режимников самые тяжелые работы: выгрузка камня, песка, щебня, угля, бревен — в общем, одни погрузо-разгрузочные. Самая каторжная работа — это выгрузка камня зимой: он в снегу, обледенелый, рукавицы твои тонкие и рваные, быстро намокают, руки нещадно мерзнут. У кого рукавиц уж нет, те толкают глыбы ногами, локтями, став на колени,— руки-то уже в крови. В режимке обычно отказники, отпетые рецидивисты, им уж все на свете нипочем. Бывали в ней и наши. В режимку гонят без разбора статей — и уголовников, и политических. Там нашему брату хана: с ходу «бугор» посмотрит на тебя оценивающим взглядом, затем отметет твои шмотки и даст свои ремки, двести граммов хлеба или не даст вовсе. «Бугор» в режимке не работает, сидит, как фараон, весь день. Вечером ему отдают всю еду, и он сам делит, кому сколько, хотя там и делить-то нечего — триста граммов хлеба дают. «Бугор» бог и царь, его стрелки боятся, заискивают перед ним, курить ему дают, посмеиваются с ним, он сам судит и сам приговоры исполняет. «Бугор» в режимке постоянный, вроде как штатный, он в ней не живет.

* *
*

В середине строя, под руки повели меня бригадники на развод. Бригадир на стройке сказал:

— Лезь на леса, замри там до вечера. За тебя норму вырубим.

И вырубили. Очухался через пару дней, тошнить перестало. Голова кружится, а работать надо. Через полгода новая беда: поперек котлована брошено бревно, крестом на него доска-пятидесятка. Надо было быстро зачем-то туда дальше, и я решил напрямик по доске. Почти дошел до берега, как вмиг коромыслом доска ушла из-под ног, и я в котловане. Глубина метров пять. Приземлился вниз животом, отбил «здухи» (это когда ни в себя, ни из себя не дышится — ты жив и мертв одновременно). Секунды рыгал, потом дыхнулось, живой, только нога сломана. Железяка там лежала ржавая, об нее нога и треснула. Пришлось кричать. Лестницу опустили, люди сошли по ней, вынули «летчика», положили на две доски вместо носилок, унесли.

Вот и больничка. Это уж не та, тюремная, с нарами, это почти настоящая лечебница с койками, белыми постелями. Как давно я их не видел, почитай, с севера, где хирург Зеренин операцию мне от водянки делал. Гипс на ногу поставили, но рана была рваная, о грязную железяку полученная, она загноилась. Так и заросла впоследствии широким шрамом отметина на всю жизнь.

Врач Тюрин, видимо, сжалился:

— Вот что, Миша, нога твоя заживет еще не скоро, если сможешь, помоги в двух кабинетах полы плиточные сделать. Сам носить ничего не будешь — говори, что надо, поднесут, подадут, а ты на коленках тихонько попробуй...

Лежать без дела муторно. Согласился. Давно, еще в Коноше, полы такие мы с Васей делали.

Полы у Тюрина получились без задоринки. Он опять ко мне:

— Оставайся у нас в амбулатории, пока нога окрепнет. Весной, если надо будет кое-где подбелить, подкрасить, вдвоем с санитаром сделаете, а так будешь регистратором.

И стал я швец и жнец — день прошел, к сроку ближе.

Вот кончился прием в амбулатории. Вышел я посидеть на дворе. Стою у барака. Рядом, за углом, с той

стороны, где растет трава, где люди не ходят, сидят четверо блатных, в карты режутся. Топор возле них лежит. Опасаюсь подойти ближе, вдруг подумают — подглядываю, врежут под дыхло, хищники ведь. По тротуару дощатому идет комендант Куватов. Узырили его все четверо, ждут, подойдет ли он к ним. Но тот, скоса посмотрев, прошел мимо. Колыма, рябой и рыжий бандит, бросил карты:

— Вы, я же забыл Куватова зарубить!

Схватил топор, догнал Куватова, а он идет и не обернется. При всех прохожих Колыма рубнул Куватова. Когда тот упал, бандит деловито отсек его голову, взял за уши, понес к друзьям. Принес, на траву рядом поставил, сел, взял карты. Все четверо хохочут. Тут вихрем подбежал старший комендант лагеря Бреус, схватил Колыму за шиворот, поволок на вахту. Бреус из уголовников, он был бесстрашен среди зверей. Не знаю, дожил ли он до своего срока.

* *
*

А войска наши наступают: уже побили немца под Сталинградом, на Курской дуге. Поперли солдаты советские врага с родной земли. Только у нас без перемен: все дни похожи один на другой, как у Ивана Денисовича,— подъем, пайка, баланды, разводы, шмоны, звон вечерних проверок, вонь барачная, блохи, крысы да слезы еще...

* *
*

Врач-хирург Григорий Петрович Несвяченый, фельдшер Паришвили, санитар Савчук и я ночевали прямо в амбулатории, спали кто где — на столах, на стульях, на скамьях. У Савчука в рентгенкабинете стоял «Иван

Иванович» — огромного роста скелет. Вольное начальство нам спать тут разрешило, чтоб здание охранялось по ночам. К этому времени наметилось ослабление напряженности между вольными и нами: политических стали допускать везде — они работали врачами, мастерами, завлабораториями, начальниками мастерских. То ли людей уже не хватало, то ли дошло до сознания кому-то, что это за «враги», только перестали звать нас «фашистами», грубить, заносчиво смотреть сверху вниз, началось послабление во всем: в бараки к нам провели радио, стали мы слушать пульс планеты — жизни по ту сторону проволочного забора.

А жизнь идет своим чередом: новости с фронта слушали, песни артистов. Полюбили все Клавдию Шульженко, Бунчикова и Нечаева. Мы спим в амбулатории, но в барак свой ходим. Тут у нас пайки, талоны на приварок, постели, тут наш «дом». Сидим, порой балагурим, вдруг слышу до боли в сердце знакомую мелодию и громко ору: «Тихо, братцы, сирень цветет!»

Это Бунчиков с Нечаевым заливаются: «Сирень цветет, не плачь, придет твой милый, подружка, вернется». Люди еду прекратят, тихо слушают... Да, кто-то живой с войны придет, кого-то дождутся и встретят. А мы, если доживем до срока, откуда придем? Кто мы? Солдаты стройбата или подневольные из эпохи Спартака? Кто мы?

Моя тринадцатилетняя дочь позже спросит:

— А ты, папа, в войну где был?

Не сказать же ей эту жуткую правду, мала еще.

— Всю войну я строил авиационные заводы...

— А почему у тебя нет орденов и медалей, как у дяди Пети? (Дядя Петя — это мой старший брат, умерший от фронтовых ран после войны.)

Ничего я дочке не ответил, а про себя подумал: в самом деле — почему? Миллионы таких, как я, реабилитированных получили в 1955 году двухмесячную зарплату, срок заключения зачли в трудовой стаж, и все. Любой из них достоин был признания его заслуг перед Отече-

ством. «Враги народа» трудились по двенадцать часов без выходных и отпусков. Это значит — за десятилетний срок они фактически отработали по семнадцать лет. Они строили заводы, шахты, каналы, железные дороги, рубили тайгу. Бесплатно. Без наград, без пенсий к старости, без каких-либо других льгот. Почему? Почему? Скажите, люди...

Тамара Юрьевна Мартинсон, зубной врач из вольных, принесла учебники за 8, 9, 10-й классы. Мне надо одолеть их за остаток срока. Не для отчета, для себя. Доктор Несвяченый писал научный труд, нам его не читал. Однажды, как боль свою восприняв, он по-отцовски мне сказал:

— Шел бы ты, Миша, на стройку. Что ты здесь прозябаешь...

Где-то в глубине души кольнуло, щелкнул включатель совести, вроде свет зажегся в трубе и в луче его увиделась истина: а ведь и впрямь — зачем я тут? Я же рабочий человек, и место мое там, на стройке. Встретился, как раз вовремя, бригадир знакомый Евгений Басков, разговорились:

— Идем ко мне в бригаду слесарем? В мастерских мы УНМР-75 у Васюкевича. Работа интересная, не то что твоя штукатурка — по уши в растворе. И пайку киловую забиваем всегда. Да и неплохо освоить не одну строительную специальность, а несколько!

— Я приду к вам, Женя, завтра же схожу в УРЧ и попрошу перевести.

* *
*

Оказия произошла буквально на следующий день: пришел блатной хмырь, рожа в угрях, скулы широкие, лоб покатый, как у гориллы, встал, подождал, когда от регистратуры уйдут люди, втюрился в окно, лыбится:

— Э, ты, начальник, запиши в списки освобожденных кореша.

Он назвал фамилию.

— Нет,— говорю по-ихнему,— не проханже, в кондей канать за тебя охоты нету!

Он выругался трехэтажно, скривил рыло и прохрипел:

— Ну, падла, в кондей не хошь, в другое место пойдешь!

И смылся. Горилла этот, видимо, стукачом у опера был.

Вызвал меня «кум» к себе через нарядчика:

— Что ж ты не ушел с теми, что столб на зону бросили? Ты же собирался, почему отстал?

— Да что вы, гражданин начальник, у меня сроку два года остается, нету мне резону бежать. И не собирался я никуда.

— Ладно, иди, разберемся...

Это ж тот хмырь сочинил кляузу, это его «работа».

Два стрелка забрали меня с вещичками и повели. В «люкс», думаю, так туда без вещей уводят, значит, в режимку. И точно — туда. Приказа не объявили — на какой срок.

О режимке я уж сказывал — это самое жуткое место в лагере. Отмели мое одеяльце, обувь, штаны, рубаху, дали все с себя, старое. От них жди чего угодно, их тут много, бандитов, я — один, перечить нет смысла. Хожу с ними десятый день, сплю, все равно что в клетке с хищниками. На работу нас водят с собачками-волкодавами, с пулеметиками, надежно стерегут, никто нас не своpует, мы и ночью под замочками, как в тюрьме. Камень бутовый выгружаем, уголь, щебень, песок, бревна, словом, самые «престижные» дела у нас.

Смекаю — дело табак. Как выбраться отсюда? Стал думать про себя и решил: выход только через больницу. Значит, надо в нее попасть. Разработал план. Дрова березовые трехметровые из крытого двухосного вагона выгружали: залез я за последний штабель, вроде толкнуть толстое бревно, сам взял заранее кинутый туда торцовый обрезок, загнул рукав левой руки, плечом лесину шевелю,

сам бью по локтевому сгибу деревяшкой, верчу ею до крови.— Вижу — ладно уже, заорал:

— Руку прижало, прижало руку!

Напарник мой, наверное, видел, но редко из блатных в сексотах ходят, он даже своим не сказал, хотя я и не просил его об этом. Вылез, рукой мотаю. Стрелку сказали:

— Руку тут одному прижало.

Тот выругался гадко и пробурчал:

— Дотерпит до съема.

К вечеру рука синеть начала. Вызвали легпома, к врачу повел. Вместе с другими повезли на машине — оказалось, в Красную Глинку, там главная больница лагерей. Посмотрел хирург, покачал головой:

— Ампутировать придется, гангрена может быть, успевать надо.

— Нет,— говорю,— резать не дам, пусть смерть, жалеть мне нечего.

Думаю, выгонят, ан нет, оставил; лечить начали, колоть, припарки делать, ванны. Недели две, и руке легче. Дней двадцать в больничке прокантовался, выписали, обратно повезли. По дороге свистят догадки — неужели снова в режимку? Но нет, миновало: доставили в свой барак в зону к «пятьдесят восьмой».

* *
*

Женя Басков сходил в УРЧ, к старшему нарядчику, добился — записали меня в его бригаду. Начальник мастерских, Лев Антонович Васюкевич, из наших, ему единственному доверили такой пост. Добрый по натуре человек, Васюкевич дал мне работу — делать из стальной ленты полотна лобзиков. Из-за острого дефицита этих полотен решено было готовить их кустарным способом. Это дело мне и поручили. Им до меня один уже занимался: нарубит на нужную длину полосочки, зажмет

в тисы и вручную зубильцем насекает зубцы. Дня два так же делал и я. Мелькнула мысль — а почему бы не насекать сразу два полотна? Зажал их рядом — получается брак. Поставил между планками прокладку ниже миллиметра на три — насечка вышла ровная. Мало два, надо больше! Изготовил торцевые хомутики, с их помощью стал насекать по восемь полотен враз, превысив норму вшестеро. Полотна эти проходили потом цементацию в аппарате Приходько, ими обеспечено было все монтажное управление до тех пор, когда получили полотна импортные.

Овладел электросваркой. Но тут опять болезнь. Перевели контрольным нормировщиком мастерских УНМР-75. Им и был до ухода на волю. В бригаде моей хорошие люди. Бригадир Женя Басков — токарь-сверловщик, Коля Шумков, чуть старше меня,— слесарь, бухгалтер мастерских Иванов, десятник Гордиевский, еврей Пиня, виртуоз-наладчик всех станков, инженеры Приходько и Баскаков, Иван Русаков — главный табельщик завода. Приходько занимался теорией и практикой цементации стали, ему были приданы двое рабочих, с ними он ставил опыты: вот выточат токари детали машин из обычной стали, Приходько укладывает их в железную бочку слоями с кальцинированной содой, заваривает сосуд намертво, в горн его, и калят много часов. Вынут, остудят. Детали получаются прочными, такими, что ни одно зубило не берет. Запчастей к машинам не было, их вот так и готовили.

Другой инженер из нашей бригады, Баскаков, тоже имел подсобника, конструировал кокиль для литья под давлением. Он уверял, что достигнет цели — будут в стране отливать поршни машин и без всякой обработки ставить в двигатели. Отлил Баскаков первую продукцию: ложку. Кривой и корявой она вышла. Просмешник Коля Шумков пробил в той ложке дырку, пригвоздил к дверям конторы, да еще стих озорной под ней сочинил. Евгений Евгеньевич, доброй души человек, не обиделся — смеял-

ся со всеми вместе. Голова у Баскакова светлая, пытливый ум его упорно искал, он забывал себя, как дитя малое,— надо было кому-то о нем заботиться. Вот он идет со своим кокилем в контору. Коля увидел в окно и всем:

— Смотрите — сам заключенный, а он на воле!

Но тот же Шумков вечером, улучив момент, пришил пуговицы к ширинке брюк Баскакова. Евгений Евгеньевич был одержим своей идеей, он весь делу своему предан. И на работе и «дома» все чертил, рисовал, высчитывал. Срок у него был 10 лет. Не знаю, когда он освободился, только с комом в горле прочитал я лет шесть назад: Баскакову в числе других ученых за разработку теории и внедрение в практику точного литья под давлением присуждена Государственная премия СССР.

* *
*

На автостраде, ведущей из Куйбышева в Новокуйбышевск, в районе станции Кряжок, сросшейся ныне с городом, недавно построен мост — путепровод через железнодорожные пути. Если, съехав с него в сторону Новокуйбышевска метрах в двухстах от железной дороги, посмотришь направо — увидишь красное кирпичное одноэтажное здание. Это и были тогда мастерские УНМР-75. Рядом первый крекинг. Между ним и мастерскими вдоль шоссе верст на семь стояли бараки — лагеря, лагеря, лагеря. Отсюда и я ушел на волю.

Отбывших срок обычно за неделю раньше вызывали на фотографирование для справки. Но вот уже и первое июля 1947 года наступило, до срока два дня. Молчит нарядчик на разводе. Волнуюсь, бригадники мои тоже — неужели «до особого» оставят? До особого распоряжения оставляли многих. А его можно было ждать еще лет восемь... И только второго утром нарядчик объявил:

— Завтра остаешься от развода, а сейчас быстро в УРЧ фотографироваться.

Утром третьего июля вместе с бригадой пошел на развод, к вахте, проводить своих ребят... А им еще дороги длинные до срока, некоторым аж дальше 1955 года. Простились, обнялись, бригада строем по четыре к воротам, машу им, и они мне, плачут некоторые, и у меня слезы в рот затекают, в горле как ангина тюремная — ком... Ушли, посмотрел им вслед, но надо уходить. В бараке собрал вещи, сдал все казенное в каптерку, записку прощальную своим написал, на нары положил, взял котомку, пошел в УРЧ.

Получил справку о том, что отбыл десять лет лишения свободы с третьего июля 1937-го по третье июля 1947 года. Деньги на билет до Бийска выдали. Пошел к вахте. Обыскали последний раз, справку ту проверили, открыли калитку — иди... Никакого напутствия, как жить дальше думаешь, человек? Деньги дали только на дорогу, а чем жить все то время, пока ты доедешь, поступишь на работу и получишь первую зарплату? Отошел метров сорок от вахты, сердце екает, жду — вот сейчас крикнут: «Стой!» Или выстрелят в спину. Шаг, еще шаг. Не кричат и не стреляют, никто не бежит вслед... Неужели вправду воля? Поставил на землю сумку, обернулся. Я один ухожу в этот день. Сколько же тысяч там осталось ждать дня свободы, как много безвинных останутся тут навсегда...

Позади десять годов тюрем и лагерей, десять лет даром потерянной жизни, таланта: ушел в семнадцать, теперь мне двадцать семь. А что я могу? Кто я такой теперь? Как жить? Сверстники мои, поди, давно институты закончили, дети у них большие уже. А кто и погиб на войне... Моя воля еще не означала моей свободы. Я знал, что наказание мое будет длиться еще безмерно долго, только мера пресечения изменится: меня перестанут держать под стражей, оставят ссыльным, поднадзорным.

* *
*

Домой приехал ночью. Грузовой автомобиль остановился возле церкви в Чаше, я спрыгнул. Машина ушла дальше. Смолк гул мотора за углом, и черная ночная тишина проглотила меня на площади. Село спит. Вдруг где-то недалеко заиграла гармонь. Пошел на ее звук. Кучка девчонок и парней сиротливо стоит вокруг гармониста, никто не пляшет, не поет. Гармонь, когда я подошел, стихла. После краткого знакомства молодежь решила проводить меня до дома матери. Мать половину пятистенка продала, живет в кухне, вросшей в землю, в той, что на улицу.

Стали с ребятами решать — то ли сейчас к матери постучаться, то ли подождать до утра. Решено сейчас.

— Тетка Дарья, открой, сын к тебе пришел!

Слышен шорох в избе, свет в окне появился. С керосиновой лампой без стекла идет на меня седая старуха, совсем не похожая на мою мать, глаза у нее расширены, испуганы, она не мигая смотрит, лампа в руке ее дрожит. Посветила на меня да как вскрикнет: «Не он это, не он!» Сама упала, выронив лампу... От луны в окне видно — мать хрипит на полу. Схватил ее, подымаю, кричу:

— Мама, я это, я — Мишка, сын твой!

Не реагирует. Ну, думаю, не увижу ее живой больше и слова ее не услышу, страшно стало, что держу в руках умирающую мать.

Нащупали лампу ребятишки, зажгли, все в хату втиснулись, водой отливать девчонки мать начали: очнулась она и повисла на мне в слезах. Ночь короткая, тут же и утро. Побежали парни за моими братьями. Старший Петро с женой Надей пришли — женились они с ней в Берлине, дочка у них уже растет. Петр изранен на войне. Второй брат Сано бухгалтером работает, ногу, ту самую, что болела у него с детства, отрезало в автосцепке вагона. Он на протезе. Дядя Ваня, брат матери, с тетей Гра-

ней пришли. Дядя Ваня участник трех войн, весельчак — ни дать ни взять Теркин, орденов и медалей вешать некуда. Разлил он горькую, коей я до сих пор не пробовал, чокнулись за мою волю, «Стеньку Разина» спели, былое вспомнили. Приглашала мать на встречу ребят — земляков, одноклассников. Не явились. Побоялись.

Три дня в отчей хате — больше нельзя. Дорога дальняя — местом постоянного жительства мне определен Смоленский район Алтайского края.

Прибыл. В Верхнеобский совхоз направили — в десяти километрах от Бийска. Посмотрел директор мои ксивы и говорит:

— Десятником на стройке сумеешь?

— Попробую.

Прорабом был старичок, дружелюбный такой, маленький, толстенький, седобородый, на левую ногу хромой. Дом у него тут, хозяйство — он из местных. Стал он учить меня чертежи читать, хотя тех чертежей кот наплакал,— свинарники строим. Взялся я за дело рьяно. Жил у плотника Сергея Куртомирова и жены его Гали бесплатно, просто они меня пожалели.

Выписать и расценить наряды я умел, организовать работу тоже. Прораб доволен — уйдет домой грядки свои полоть, поливать, я рад, один остаюсь, мне доверяют! Днем машины возят хлеб, ночью, когда падает роса, по два рейса везут на стройку кирпич, значит, принять его надо, выгрузить, путевки шоферам подписать. Ночью жду машины — готов пластать двадцать часов в сутки!

Хорошо, что денег дал брат Сано, одежду — он же и дядя Ваня, а то бы не в чем было мне и не на что жить. Правда, получил хлебную карточку, но надо еще к этому куску хлеба какой-то приварок. Столовой в совхозе нет, рабочие все тут местные, деревенские, своим хозяйством живут, а мне в обед идти некуда: Сергей с Галей на работе, сын в школе, перебиваюсь кое-как. Когда ехал от Новосибирска до Бийска в «пятьсот веселом» поезде, угодил в один вагон с двумя немцами с По-

волжья — Иваном и Антоном, сосланными в это же село. Так втроем здесь и держались. Иван стал механизатором, Антон варил еду свиньям на кормокухне. Осенью Антон варит свежую картошку (растет она тут крупная), стройка моя рядом. Видит Антон в окно — я иду по стене, меряю что-то. Свистит и машет рукой, зовет. Подойду, он быстро кинет в окно пару картофелин — это и обед мне. Сяду под лесами на кирпич, быстро, чтоб не видели, съем их — не обижайтесь, свинятки-поросятки, я вашу пищу проглотил! Так, пожалуй, с месяц я и кушал из одного со свиньями котла.

Мать шлет письмо: «Худо мне одной. Старею, а Сано с Петькой инвалиды, помощь от них какая? Все одной приходится — и сено косить, дрова нарубить, все это привезти на своей же корове, потому как лошадей в колхозе мало. Налоги опять же заплатить, заем требуют, шерсть, мясо, молоко, шкуру сдать, а с чего? Нету у меня никакой живности, окромя коровы. Хоть и жаль, а придется и ее зарезать и уж жить на старости лет безо всякого домашнего хозяйства. Так много лет ждала тебя, скорбела, боль свою от людей злых таила, все думала — вот придет он живой и хоть под старость поживу с меньшим сыном, но судьба вновь нас разрознила, и нет просвету в моем одиночестве».

Под осень в район вызвали:

— Разрешено вам, если надо, уехать на родину.

Еду домой, на Урал!..

...От станции Кособродск до моей Чаши доехать можно только с попуткой. Взял меня один грузовик в кабину.

— До совхоза еду, там верст семь пешком придется,— сказал шофер.

— Там уж доберусь, с детства здесь места знакомы, родился я тут!

Слез, устремился напрямик, без дороги.

Смотрю в небо бездонное — сколько ж ее, этой сини? Дыши без списка, досыта! И подумалось: вот в эту минуту здесь, в степи, я абсолютно свободен! Нет никого рядом,

никто не знает, где я сейчас, никто не скажет: «Вставай, пошли!» Завтра... завтра стану на учет, и неусыпное око, не мигая, начнет смотреть за мной... Сколько лет смотреть будет? Годы, десятилетия или всю жизнь, до последнего вздоха?

Не знал я еще в эту таинственную, торжественно-траурную минуту, что при всех моих чистых и благородных порывах тень прошлого не даст исчезнуть невидимой привязки к «кичману»...

Радости матери я ждал — являюсь-то к ней без уведомления, приду не в гости, навсегда. Но знал сразу, что на родине, в своем селе, мне будет хуже, чем в чужом краю. В алтайской деревне общаться со мною не боялись, на работе подчинялись, уважали, хотя, наверное, многие знали, кто я.

* *
*

Поднял домкратом два осевших угла отчей хаты, стулья заменил, окладники, завалинки новые устроил, печь переложил, починил крышу.

Паспорт мне новенький дали, только с маленькой пометочкой «статья 39 положения». Мне запрещено жить во всех городах страны, можно на сто первом километре от них.

Приехал в Курган (60 верст от Чаши), на завод колесных тягачей пришел, дескать, слесарем возьмете? Объявление ваше читал... Кадровик в бумаги мои, в паспортину глянул и как черт от ладана:

— У тебя же тридцать девятая! Тикай, парень, пока не закинули!

Станция Кособродск в сорока километрах от города, хоть нету ста, ну, думаю, тут попробую: заглянул на шпалопропиточный завод — контора в маленьком деревянном доме, сам заводик малютка. Начальник завода Лопатин, проверив мои документы, задумался, помолчал.

— Возьмем,— сказал,— десятником на погрузку шпал. Оклад 310 рублей (это нынешними 31 рубль). Согласился. Решил: пусть буду плебеем, но не на глазах своих односельчан-сверстников.

Продали с матерью отчую хату, собрали ремки и на корове переехали в Кособродск — верст тридцать. Все наше имущество уместилось на одну телегу, запряженную Дулей. Едем-едем, мать Дулю за соски подергает, попьем и дальше пешком. Хлеба нет. Идет год 1949-й. Хлеба и в Кособродске не досыта, но продают его уже без карточек: надо только с ночи стоять на улице, чтоб в страшной давке поутру достать булку.

Считаю, считаю шпалы. Оклад мизерный, не хватает, мать уже не работает, жена и дочка завелись, приходится на выгрузку шпал ходить — там за вагон деньги «на бочку» платят.

Десятник, прораб — это уже в Шумихе...

Так началась моя новая, многотрудная жизнь...

* *
*

Минуло 10 лет.

Летом 1957-го велено было мне явиться в Курганское управление КГБ. Знал уже, что репрессированных при Сталине реабилитируют, захожу без тревоги. Сотрудник комитета не представился, пригласил сесть, начал:

— Вот ваше дело 1937-го.

Через двадцать лет он читает его вслух. Дошел до места о Карле Марксе и рассмеялся:

— Неужели всерьез такое могли поставить в вину?

Все дело прочел или нет — не знаю. Я же его подписывал не читая, боялся ареста брата. Отложил он бумаги в сторону и спросил:

— Как считаете, Тюменева посмертно оправдать можно?

— Да, это был настоящий коммунист.

— Поезжайте, — говорит следователь, — работайте спокойно, вины за вами нет.

Пошел посмотреть тюрьму. Вывески на ней уже нет, зонты сняты, окна расширены до прежних размеров. Вижу — смотрят оттуда люди, «свято место пусто не бывает». Кто они? Если воры — то поделом. А если такие, как я?

Неужели, думаю, не прошел все еще угар того бешенства, которым заразились от Сталина тогда многие? Двадцать лет я отбываю наказание — десять в тюрьмах, лагерях и десять отверженным по тридцать девятой статье...

Осенью 1957 года детский сад и столовую строили, дом жилой около электростанции. Забегаю в конторку позвонить, смотрю, человек меня ждет.

— Звонил,— говорит,— звонил, не поймаешь прораба.

— Так у меня стройка, возле телефона сидеть некогда.

— Вот возьмите, распишитесь в получении.

Расписался. Он небрежно бросил мне бумажку и пошел.

Читаю: Постановление Курганского областного суда от двадцать пятого октября 1957-го года о моем оправдании. Бог ты мой — через двадцать лет признали, что не совершал я никакого преступления!.. Взял эту бумагу, и какое-то чувство тяжкой горечи овладело мною: как мне этот человек вручил столь важный документ — брезгливо кинул и ушел. Это равнодушие я понял чуть позже: он знал, что данная бумажка не конец моего наказания, а только видоизменение, что до самого погоста на меня будут поглядывать немигающие его очи...

Уже, наверное, году в шестидесятом жили мы в одном доме, мною же построенном, с начальником линейного пункта милиции станции Шумиха Смажелюком. Случился конфликт бытовой, огородный. Смажелюк не нашел острейшего укола:

— Ты за что сидел?

Как будто он владел каким-то моим секретом. Пошел я в горком партии. Секретарь горкома вызвал Смажелюка и заставил извиниться. А что толку — этот же Смажелюк продолжал за мной слежку, причем осуществлял ее грубо, примитивно, подсовывая провокаторов. А зачем за мною следить? Я вот он, у всех на виду и пользу приношу больше, чем многие, так сказать, благонадежные.

* *
*

От речки Миасс до Шумихи 22 километра. Воду берут оттуда для города и паровозов. Трубы чугунные, при царях еще уложенные, полвека в земле пролежали. Решено заменить их новыми на участке от водокачки до Каменки — 18 километров. Четыре летних сезона стальные чехословацкие трубы укладывали рядом со старыми. В лето последнее, уже возле Каменки, Вася Баранов варит автогеном тройник. Рядом на корточках сижу я, примеряю по фигуре старого тройника. Показалось Василию, что мало газу, он и попросил:

— Леонтич, подшуруй в реторте.

Взял с земли огарок электрода и сунул в отверстие реторты. В тот же миг газ в ней вспыхнул — огарок-то оказался горячим. Ору:

— Всем в траншею, машину в ров!

Автогенный аппарат шлангом соединен с баллоном кислорода, а если лопнет газгольдер, может взорваться и баллон. Их рядом еще четыре полных — возможна детонация. Над нами высоковольтная линия, идущая к водокачке. Если от взрыва повалится опора и оборвутся провода — быть беде: прекратится подача воды, станут поезда. Лихорадочно бьет в виски мысль — неужели опять «туда»? Не поверят ведь, что это нелепая ошибка, а не вредительство. Ждем. Секунды длинные-длинные, как хвост кометы...

— Эх, была не была, все равно пропадать!

Выскочил, схватил чью-то телогрейку, накрыл ею газгольдер, обнял, чтоб лишить доступа воздуха в реторту... И все те же долгие, страшные секунды... Тихо. Открыл. Потухло. Сел на корточки, закрыл глаза. А если бы взорвался баллон?.. Опять мрачная тень прошлого...

* *
*

По проекту реконструкции корпуса крановых мастерских в Шумихе был построен новый механический цех. Комиссия при сдаче нами объекта никаких недоделок не записала, но начальник мастерских Федор Федорович Чирцов попросил забелить на стенах, в уровне подкранового пути, пятна от электросварки. Цех уже работает, и в будние дни нельзя, договорились сделать это в воскресенье. Вызвал двух девушек-маляров и при Чирцове записал в журнал по технике безопасности и под роспись обеим объявил: прийти завтра к восьми утра на работу, показал какую, на час, не более, без меня не начинать — я сам проверю, все ли в цеху обесточено. Предупредил, что если они придут ранее, то зашли бы ко мне домой (рядом живу), и все вместе пойдем в цех. Примерно в семь тридцать пошел в крановые — пока, мол, там проверю, и девочки придут. Навстречу бежит Рая, издали кричит:

— Зину убило, убило Зинку! Убило!

Забегаю — лежит Зина в луже крови, мертвая.

Приехал инспектор райпрофсожа, резюмировал: прорабу тюрьма.

Это же надо — всю жизнь костлявая старуха за мною гонится!..

Оказалось при следствии: обе девушки пришли намного раньше назначенного времени, хоть и сторож не пускал, в цех зашли.

— Зина,— подсказывает Рая,— не велено самим лезть, надо за прорабом сбегать, расписались же!

— Да ну, пока ходим, так я забелю все, и в кино пойдем! Делов-то на полчаса. Сейчас проверю — есть ли ток на рельсах.

Поставила лестницу, влезла, рукой за рельс взялась:

— Нету току, давай ведро с известкой!

Прошла по одной стене, забелила, надо было слезать, перенести лестницу ко второй стене, но Зина решила пройти с ведром прямо по кранбалке. И только коснулась троллеев — сразу вспышка. Она упала вниз головой на бетонный пол.

Все проверило следствие, вины моей не было. Миновало...

* *
*

Году в шестьдесят втором кончились все работы в Шумихе. Паспорт у меня новый — без тридцать девятой, его выдали тогда, еще в пятьдесят седьмом. Квартиру в Кургане дали, семью перевез. Три комнаты! Что я в них поставлю — нет у меня мебели. Да и не нужна она мне. В Курган-то меня перевели, но в нем я только один кузнечный цех для железнодорожного училища и построил: архстройконтроль не допускает меня к производству работ в городе. Абсурд: есть десяток построенных мною объектов — нет «корочек», а они важнее, весомее практически сотворенных тобою дел.

И начались командировки по разным станциям. Там, на дальних объектах, командир должен уметь работать без шпаргалки, решение принимать самостоятельно: отвечать за все сам.

* *
*

Эхо далеких дней... Гудишь ли ты набатом или шипишь по-змеиному, но не даешь покоя, тенью черной бе-

жишь за мной всю жизнь... Старая тюрьма с годами застройки Кургана оказалась почти в центре, ломать ее начали. Любой заходи, посмотри. Пошел и я. Человеку, не испытавшему «вкуса» тюрем, не понять чувств того, кто вот так, через много лет, заходит в свой каземат экскурсантом. Тут надо помолчать, утереться, проглотить несъедобный ком в горле...

Вот она, могила твоей юности... двадцать вторая камера, то окно... зашел в нее, остановился, снял шапку, послушал — не звякнет ли с той стороны замок? Ветер гуляет по тюрьме, в ней нет уж окон и двери — все настежь. Вдруг дверь со скрипом стала закрываться — вот же гадина, чует — жертва ее пришла, как пасть акулы захлопнулась, готовая проглотить добычу. Подставил под нее кирпич — стой! Ступаю тихо, в оцепенении: тут сидел Собин, рядом Рычков, а здесь мы с дедом Дроном. За окном — баня, та самая, где я провел первую тюремную ночь, где встретились с дулом пистолета многие, где упал окровавленный Иван Рычков...

Вышел на улицу Кирова через те самые ворота, откуда в 37-м утопал на этап. Зеленый деревянный дом (он стоит и поныне), крыльцо высокое: на нем стояла мать, я видел ее в последний раз из окон тюремной уборной, на которых еще не успели надеть зонты.

А годы идут, идут. В труде состарились мы, и многое забывается, но не забыть имена тех, кто в рассказе этом назван,— их имена подлинны. Забыть их нельзя, как нельзя забыть пройденных тяжких дорог, не забыть и событий, участником и свидетелем которых был сам.

СОДЕРЖАНИЕ

Завещание: Сборник/Сост. Ю. А. Дорохов,
З-13 В. Н. Черных.— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1989.— 256 с.

ISBN 5—7529—0196—0

50 к. 50 000 экз.

Воспоминания уральцев, ставших жертвами культа личности Сталина.

З $\frac{1805080000\text{-}079}{М\ 158(03)\text{-}89}$ Без объявл.-89 **ББК 84Р7**

Уважаемые читатели!

Цена на эту книгу увеличена на 10 копеек. Эти деньги будут перечислены на счет Уральского историко-просветительского общества «Мемориал» и использованы на создание мемориального комплекса жертвам сталинизма и оказание материальной помощи семьям, пострадавшим в годы культа личности.

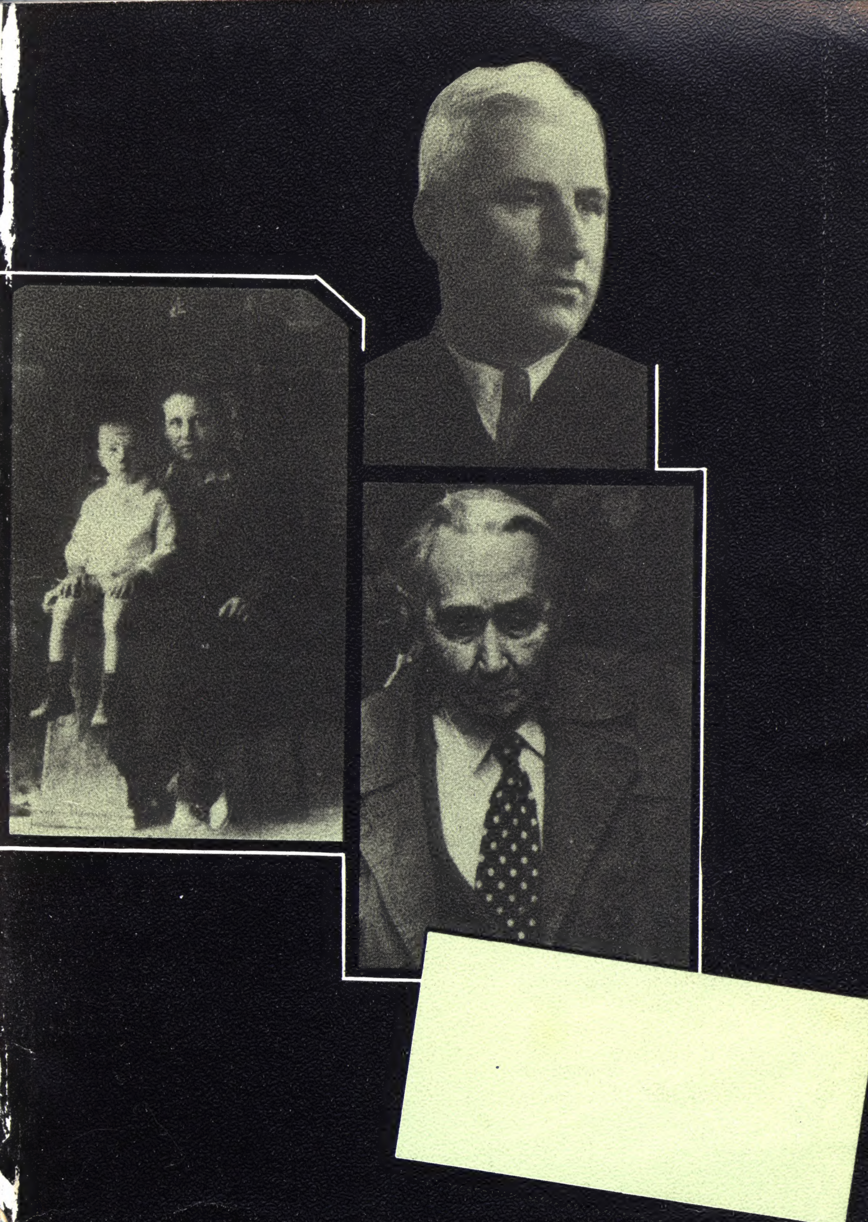
ЗАВЕЩАНИЕ

Редактор Ю. А. Дорохов
Художник А. В. Мохин
Художественный редактор В. С. Солдатов
Технический редактор Л. М. Голобокова
Корректоры Т. Г. Калугина, Т. В. Сергеенко

ИБ № 2060

Сдано в набор 12.06.89. Подписано в печать 11.09.89.

Формат $70 \times 108^1/_{32}$. Бумага типографская № 2.
Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 11,2.
Усл. кр.-отт. 11,6. Уч.-изд. л. 11,7. Тираж 50 000. Заказ 352.
Цена 50 к.
Средне-Уральское книжное издательство, 620219,
Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24.
Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск,
пр. Ленина, 49.



50 к.

Первая книга в цикле «Уральские мемуары» включает в себя воспоминания наших земляков, ставших жертвами культа личности Сталина. Эти безыскусственные рассказы людей, прошедших все круги лагерного ада, обращены к нашим современникам, к тем, кто должен извлечь уроки из истории.





ЗАВЕЩАНИЕ

уральские мемуары